

НАЧАЛО ВЕКА

Литературный и краеведческий журнал

3



2018

НАЧАЛО ВЕКА 2018/3

ЛИТЕРАТУРНЫЙ
И КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
Выходит с января 2007 года

ИЗДАНИЕ ТОМСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

Главные редакторы:

Геннадий СКАРЛЫГИН
Владимир КРЮКОВ

Редколлегия:

Геннадий АНКУДИНОВ
Дмитрий БАРЧУК
Александр КАЗАРКИН
Галина КЛИМОВСКАЯ
Вениамин КОЛЫХАЛОВ
Николай СЕРЕБРЕННИКОВ
Николай ХОНИЧЕВ

Адрес редакции:

634050, г. Томск,
ул. Шишкова, д. 10.
Тел. 528-369.
E-mail: toooospr2013@yandex.ru

Электронная версия журнала:

<http://lib.tomsk.ru>

При перепечатке материалов
ссылка на журнал «Начало века»
обязательна.

Мнения авторов не обязательно
совпадают с мнением редакции.

На обложке: Дорога в сказку. Фото-
этиюд Олега Карташова.

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА

Анатолий КИРИЛИН
Письма к Мясникову 2

ПОЭЗИЯ

Борис БУРМИСТРОВ 60
Геннадий СКАРЛЫГИН 64

ПРОЗА

Николай ДОРОШЕНКО
Рассказ о ненаписанном рассказе 70
Ирина НЕКЛЮДОВА
Васькин квас 75

ПОЭЗИЯ

Николай ХОНИЧЕВ 87
Юрий МАЛЫШЕВ 94

ПРОЗА

Сергей КРЫЛОВ
От сохи 97
Иван АНИКИН
Почти с натуры 101

ПАМЯТЬ

Георгий ТОМБЕРГ 110

ЛИТЕРАТУРНАЯ УЧЁБА

Голоса Стрежевого 124

ДАТА

Александр КАЗАРКИН
Одержимый.
К столетию А. И. Солженицына 130

ПУБЛИЦИСТИКА

Лев ПИЧУРИН
Надежда есть 140

КРАЕВЕДЕНИЕ

Энтомолог Василий Плотников 147
«Солнце останавливали словом...» ..150

ЧТО СМЕШНОГО?

Анплей ХАЛЯВКО 155

АВТОРЫ НОМЕРА 158

Анатолий Кирилин

ПИСЬМА К МЯСНИКОВУ

Повесть-эссе

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Мы познакомились в Абрашино, деревне, притулившейся на берегу Оби, где она ещё не совсем река, но уже и не море, оставшееся чуть ниже по течению. Здесь она покуда не успевает вобрать в свои воды ила, мутной глиняной взвеси, и течёт в песчаном ложе прозрачная, чистая. Сосновый бор обнимает село, краями подходя к самому берегу. Глушь! Красота!

Владимир Берязев, новосибирский писатель, построил там дом и пригласил к себе в гости. Дорога до Сузуна отличная, а дальше – сотня с лишним километров по тряской щебёночной насыпи. Абрашино мы проскочили, отметив на ходу один из домиков с оригинально раскрашенными ставенками и наличниками.

– Это, наверно, дом художника, – сказала моя спутница, зная, что где-то тут живёт и художник.

Остановились на дальнем конце села и увидели, что далеко позади нас кто-то вышел на дорогу и смотрит нам вслед. Скорее всего, нас и высматривают. Это был наш друг Берязев, он, оказывается, поджидал наш экипаж во дворе того самого, раскрашенного домика.

– Данила Меньшиков, – представился хозяин и представил свою жену.

Это имя было мне известно, как и его картины. Хороший художник, его женские портреты, где некоторые детали подчёркнуто преувеличены, но не искажены, где краски и линии, на первый взгляд вступаая в противоречие, в конце концов сходятся в безусловной гармонии и остаются перед глазами надолго.

Был во дворе ещё один человек, некто в тёмном свитере с оттянутыми рукавами, в очках с толстыми стёклами, из-за которых на нас глядели насмешливо-недобрые глаза.

– Читал ваши тексты, – бросил он вместо приветствия. – В журнале. Читал, да.

Некто оказался Николаем Мясниковым, художником и писателем в одном лице. Мы со спутницей переглянулись, подумав, очевидно, об одном и том же: вот вам компания – писатель, художник и писатель-художник. Впоследствии выяснилось, что Мясников по основной профессии график, в писатели попал не так давно и по чистой случайности. Ничего удивительного, на мой взгляд, большинство именно так туда и попадает.

Нас и вправду ждали, нам обрадовались, нас кормили ухой из только что пойманной рыбы, судаком и окунями горячего копчения, приготовленными

прямо тут, в коптильне, разожжённой во дворе художника. Мы пили вино из больших бутылей, пели песни, смешили друг друга. Нам было хорошо.

– Нет, вы должны непременно сегодня посетить моё жилище! – настаивал Мясников, когда мы в очередной раз поднимались из-за стола, чтобы отправиться на ночлег.

– Завтра, ладно? Никуда же оно не денется, твоё жилище!

– Нет, сегодня!

– Вы, наверно, задумали тут творческую колонию организовать? – спросил я, выходя за ограду. – Этакое Переделкино местного значения.

– Не получится, – в один голос ответили Берязев с Меньшиковым. – Вон, видишь – они показали на распахнутые ворота, за которыми в глубине двора стоял джип. Двери автомобиля открыты настежь, динамики надрываются изо всей мочи – даже на другой стороне улицы земля под ногами подрагивает. – Третью ночь не спят, жизни радуются. Племянник прокурора, за забором больше двух гектаров земли. И таких тут с каждым сезоном прибывает. Самим бы скоро не сбежать отсюда.

– Это вы так считаете, – вступил в разговор Мясников, – вы летние птицы, такие же, как и они. Зимой тут даже мысль о том, что где-то есть города Москва и Новосибирск, кажется невероятной. Всё вокруг замечено снегом, дороги никуда не ведут. Собаки ходят к магазину на людей посмотреть...

Очевидно, сейчас он говорил для нас, новеньких, старожилы всё это давно слышали. Посмотрел на открытые ворота напротив.

– Сейчас всё можно – возьми винтовку и застрели дядю Сашу. Только глушитель надень. Но зачем же его музыкой убивать?

И он пошёл по улице, пошатываясь и размахивая руками.

– Кто это – дядя Саша?

– Да вон, сосед прокурорский.

Назавтра я проснулся раньше всех. Мясников уже поджидал на крыльце берязевского дома.

– Пошли!

И он отправился со двора, не дожидаясь согласия или отказа.

Дом его – обычная крестьянская изба, пятистенки, рубленая не менее полувека назад. Она, возможно, простоит ещё столько же, а может, и завтра завалится – так непонятно с виду её состояние. Небрежно как-то всё, неопрятно: тут прореха, там дыра, крыльцо съехало набок, козырёк над ним прохудился, окна посунулись к земле... Огород большой, повсюду пузатятся ярко-оранжевые тыквы, кучи несобранной ботвы, вторым забором стоит вдоль покосившейся и местами поваленной изгороди крапива в полтора человеческих роста...

Как бы там ни было, он здесь, в отличие от своих друзей, живёт не дачником, это его самый настоящий дом. Внутри всё завалено мешками, кулями, ведрами, связками лука, горького перца, решётами с фасолью, горохом... Всё понятно, заканчивается уборка урожая, идёт заготовка, засыпка, закладка...

Он подарил мне две своих книжки и сказал:

– Кошмарное время – когда всех своих читателей знаешь в лицо.

Потом мы сидели на крыльце и пили самогонку, закусывая блюдом под названием «хреновина». Он долго внушал мне, что открыл новое слово, нет, не слово – целый понятийный мир – таковость.

– Здесь мыши особенные, – перевёл он разговор на хозяйственные темы. – Сначала они залезли в банку с олифой. Много их там было, думал, все утонули. Не-ет! Пришли новые, сожрали яду на тридцать пять рублей, пиво стоит меньше. И хоть бы что!

– Может, дать им самогонки? – предложил я, чувствуя, что сам поднять следующую рюмку уже не в силах.

– Ты что! Понравится – своих понаведут!

Потом мы несли всякую пьяную чушь. Мясников убеждал меня:

– Самые лучшие дураки – умные. Они становятся дураками со всей силой своего ума.

– А я хочу большой огород – вот как у тебя.

– Большой огород – это обязательно, – поддержал мою мысль Мясников, – чтобы поменьше общаться с соседями. Иногда так хочется пострелять в них! Вот тот, справа, говорит мне: купил бы корову, жил бы, как человек. – Во дурак, да? И работай на неё с утра до вечера! Я от молодой, красивой жены избавился – и счастлив. А тут – корова!

Потом я ушёл. А потом уехал. И больше мы не виделись.

Дома я открыл его книжку. В правом верхнем углу первой страницы он нарисовал себя. Изобразил, так сказать, графически. А ниже написал:

«Надо быть достаточно наивным человеком, чтобы рисовать картинки.

И надо быть ещё наивнее, чтобы придавать этому занятию сколько-нибудь серьёзное значение.

Меня всегда называли художником, но лет десять или пятнадцать назад я вдруг заметил, что жизнь моя разделилась на два потока.

Один составила графика, другой – литература.

Опыт созерцания превращался в линию, опыт социального существа – в слово.

Жить в этих двух потоках оказалось неудобно, как неудобно жить на два дома. Только и делаешь, что перебегаешь из дома в дом, чтобы слегка навести там порядок.

Пытаясь облегчить себе жизнь, я приспособил фразу к своему короткому дыханию, дыханию много курящего человека, а линию – к естественному движению руки.

И в тот момент мне даже показалось, что у меня что-то начинает получаться.

Надо отдать должное деликатности моих коллег: с этого времени писатели признали меня художником, а художники признали писателем.

Таким образом, я лишился сразу двух, пусть несколько легкомысленных, но всё же профессий...»

Потом я прочёл несколько рассказов. Нервно, неровно, замечательно! Записки сердцем, нервами, не знаю, чем ещё.

Обрывочные воспоминания, странные впечатления. Новые знакомые – все

разные и все никому не нужные. Заросшие огороды, скудные столы, если не считать рыбной вечеринки по приезду. Самой деревни почти не видно, какая-то обочина жизни, и тут же – дорогие джипы и прочий карнавал. Слова. Из слов призрачная ткань бытия, эфирное состояние, сюжет. Но что такое сюжет, если не жизни? И всё-таки – нужно как можно больше новых знакомых и как можно меньше – старых. Всё слишком быстро покрывается плесенью, становится прахом.

Большой дом – это просто загородный дом Владимира Берязева, в котором можно отдалиться от мира. Но... Рыба не клюёт – и всё теряет смысл.

– Меня с утра тянет к дзенам.

– Вот с утра с этим поосторожнее.

Грузин, бывший руководитель крупного строительного управления, занял территорию в несколько гектаров. Завёл десяток коров, полсотни свиней, несчётное количество кур, уток, индюков. Работягам, нанятым из местных, выставлял двадцатилитровую бутылку самогона. Любил сам делать сулугуни – закишивал, варил, вытягивал в резину. Колдовал над сыром – и превращался в старую грузинку. Умер – скотина разбрелась, птица разбежалась, свиньи визжат от голода, коровы ревут. Батраки ушли. Потом один вернулся и поставил условие молодой вдове: порядок наведу, а жить будешь со мной. Куда тут денешься...

Мраморное озеро на подъезде к Абрашино. Скорее – бирюзовое в мраморных берегах. Окуньки, будто пером расцвеченные – чёрточка к чёрточке... Тайна леса, тайна озера, тайна слова. Нет жизни, есть сюжеты. Люди не могут не мучить друг друга.

Как уже было сказано, мы больше не виделись. И писем друг другу не писали. Друг другу. Но я ему писал. Не отправляя и, разумеется, не ожидая ответа. Писал беспорядочно и обрывочно, не отдавая себе отчёт, зачем я это делаю. Просто так. Так просто.

И ещё одно. Напоследок. Тогда, в Абрашино, рано поутру, будучи ещё трезвым, Мясников сказал:

– Когда-нибудь я умру. Но перед тем на несколько замечательных секунд я приду в сознание. И мне откроется весь этот удивительный мир. Я увижу всё в мельчайших деталях и подробностях, всё, что со мной было. И всех, кто был со мной.

Неужели же, Коля, чтобы поймать этот миг – обязательно надо умереть?

Письмо первое

Осень. Обычно в наших краях скоротечная, нынче – какая-то застоявшаяся. И невероятно жестокая. Морозы по утрам добивают остатки зелени, делают землю какой-то злобно ощетилившейся. Знаю, она потом, под первым снегом, пообреет, притихнет. Но пока сердитая. И всё-таки рано ещё быть холодам.

Одинокий человек в одиноком доме. На столе самогонка, почищенная рыба в тазу. Натюрморт под названием «Октябрьская муха». Философское отношение к происходящему или просто наплеватьство? Берязев как-то говорил о пропорциях, о соотношении труда, безделья, поэтического творчества и простого прозябания в мире... Ну непропорционален художник, что тут поделаешь! Выравнивающий фактор – пьянство – тоже не помощник в распределении пропорций. Много, мало, в самый раз... Ты, Мясников, конечно же, художник, правда, иногда прорывается в тебе: ну признайте же меня художником! Иной раз так хочется распоясаться, отпустить все тормоза, но держит страх, что ничего нового не произойдет. Может, чуть откровеннее, похабнее, восторженнее, но это «чуть» – такая малость!.. И жуть поэзии вознесется во мне! Ибо страшно это – понять, как прекрасен был мир до тебя, и ты не успел к этой красе. Ещё страшней – узнать, что останется после тебя недопонятое, недолюбленное тобой. Одно спасение – уверовать, что праздники случаются ежедневно, и жизнь – это не просто чередование понедельников и суббот, это ядение даров Божьих...

Читаю Башунова. Без мороза по шкуре не читается. Или он завершил назначенное ему на земле? Иначе зачем Бог так рано призвал его? Наверно, он, Создатель, отпускает, помимо всего прочего, и меру сердца. Тональность сердца. Норму расхода на печали, восторги, любовь...

Письмо второе

Мясников, я придумал начало для статьи о тебе и, может быть, даже название – «О хреновине и построении мира». Начну так. Художник Мясников подарил мне банку с хреновиной. В Сибири каждый знает, что это такое – жгучая закуска из помидоров и хрена. Мозги прочищает...». Ну и так далее. Что-нибудь про то, как художник Мясников, сидя в своём Абрашино, придумывает новые сюжеты, уверенный, что правды жизни нет, есть только эти самые сюжеты. Кстати, очень просто доказать обратное. Художник Мясников попросту дурит народ. Может, это и есть искусство.

А мне любимая женщина сегодня сказала: мне с тобой плохо. Стало быть, без меня будет лучше. Что тут поделаешь? Теперь надо жить исходя из новых реалий. Накануне друг прислал из Питера тягостное письмо – хоть в петлю лезь. Вот и собеседник подстать, вот и поплакаться можно на пару. Не хочу! Не хочу! Умрите в слезах, а я если и заплачу – от желания жить. Есть много, слишком много, вопреки чему хочется жить. Это ли не двигатель, не толкатель – вопреки? Вопреки нерадивым и не умеющим любить детям, вопреки неряшливым и неверным жёнам, вопреки начальникам-дуракам, всеобщей ситуации в стране и засилью китайцев в мире. Кстати, Мясников, почему бы тебе не обзавестись женой-китайкой? И пусть бы она плохо знала русский язык. А лучше – вообще не знала.

А я тем временем стал бы художником Мясниковым и жил бы без жены-китайки, зато подсчитывал бы количество тыкв на огороде, лука, картошки, какой-нибудь фасоли. Я занимался бы одушевлением леса, озера, пылящей мимо дома дороги и неодушевлением – брата-сутяги, надоедливых соседей и кур с

собаками. Они ведь и вправду почти что неодушевлённые – эти создания, живущие по соседству.

Письмо третье

Вижу твой пристальный взгляд из-под очков. Я тут сам приготовил хреновину, первый раз в жизни. Вот тебе! Приедешь – угощу. Не даёт покоя книга отречений. Увы, временами книга или мысль о ней заменяет жизнь. Как вот у тебя.

Сидим на крылечке твоего дома в Абрашино. Ты вкусно отхлёбываешь самогонку. То, что люди чаще всего делают с отвращением, ты – со вкусом.

– Водку закусывать? – изумляешься ты.

Ты, по-моему, ни разу не назвал это зелье, которое не выводится у тебя в доме, самогонкой. Водка, водочка...

Мы ведём беседу о жизни, её позывах, отголосках, подобии. Конечно, подобия больше, было бы удивительно, если бы настоящее преобладало. Мы бы и не сидели тут, скорее всего... Недавно присудили Нобелевскую премию физикам за открытие, сделанное сорок лет назад. Интересный ход мыслей – можно было бы дать премию за написание Библии. Вопрос – кому? Ты смотришь на меня и в то же время мимо, есть у тебя такая особенность. Я, фантазируя, придумываю за тебя, будто бы ты видишь за моей спиной, за плечами – моего горного поручителя и ходатая. Или, может, – мой край? Ты скажешь, что люди заселили Землю совсем не для разумной деятельности, это всё – сюжет в фантастическом романе. Автор неизвестен, конечный замысел выяснить не у кого. Ты – график, тебя мало занимает колористика, потому ты в мыслях точнее своих собратьев-живописцев.

У тебя свои тайны любовей и разводов, и ты разбираешься с ними, уйдя от живых участников событий. Женщины – не предмет долгого и серьёзного разговора, хватает, что они отнимают массу времени в настоящей жизни. Лучше выяснить, что в моей «правильной» – твоё определение – жизни самое правильное? И я отвечаю, что знаю лишь самое неправильное. Это я сам. Вот из детей, наверно, можно было бы сложить что-то правильное, но боюсь, что я сам и помешал бы этому. С другой стороны, я – самое совершенное творение в мире, именно – как многотомник, как полное собрание этих самых детей. Да и в любом случае, я – это я, и никто другой в эту минуту на покосившемся крыльце абрашинского дома Мясникова не может оказаться. Вместо меня меня не будет. Я вспоминаю заросли полыни и какую-то особенно въедливую...

Письмо четвёртое

Предыдущее не дописал, заснул посреди строчки. И что-то я хотел сказать? Въедливую ноту? Въедливую мысль?..

Вчера была так называемая презентация моей книги в книжном магазине. Слово-то придумали – матерок! И действие – унизительнее ничего не встречал! Это конец. Я ловил на себе косые взгляды покупателей, для которых явление

живого писателя не было даже неким дополнением к торговому сервису. Так, граммофон, говорящий сам по себе. И поделом! Это же естественно! Это правильно! Ты вообще должен один-одинёшенек торчать среди всего человечества. Где-то в отдалении будет торчать таким же древком без знамени Мясников, там, дальше, ещё кто-то, ещё... Их не разглядеть сразу, не составить в одну картину, выделяясь из всего человечества, они не очень сильно будут отличаться от сущности прошлогодней полыни. И пускай.

Эй, Мясников! На часах шесть утра. Ты уже поднялся или, глядя в потолок, сооружаешь очередную фразу, с которой начнёшь сегодняшнюю жизнь? Или не так. Ты сооружаешь фразу, которая и станет жизнью на сегодня. Ведь жизни нет, ты не забыл? Есть лишь сюжеты. Ты, самое пронзительное творение рук Господних, всё-таки повторяешь ошибку многих, рассчитывая на серьёзное к тебе отношение.

Представляю, это ты устраиваешь презентацию своей книги на ступеньках магазина в Абрашино! Вполне возможно, что ты имел бы там куда больший успех, чем я в огромном книжном супермаркете в нашем сумасшедшем городе.

Неужели наши сограждане призваны так быстро кончиться?

Письмо пятое

Мир накрывается осенью. Мир покрывается осенью. Осень покрывает мир, как кабан свинью. Это напоминает акт животного соития, именно так. Всё, что можно, во всё, что можно, всей силой, мощью, немислимым объёмом своего семени осень оплодотворяет мир.

Привет тебе, Мясников! Ты тоже оплодотворён осенью. В твоих закромах мыши поедают картофель, а ты подсчитываешь убытки от ненаписанных полотен.

Это письмо датировано двенадцатым октября, завтра сыну моему исполняется восемнадцать. А вчера я думал, как много людей, желающих нас унижить. Наверно, потому, что мы унижаем многих? Может, ты оттого и прячешься, чтобы не вводить себя в грех? Меньше народа – меньше соблазна унижить и быть униженным. Удивительно, однако, что унижение приходится испытывать, потому что ты специалист, потому что ты лучше своего хозяина знаешь, как надо делать, но хозяин-то он. Хочется чувствовать себя царственной особой, имея минимум на пропитание и жильё. И посылать, посылать, посылать подальше. С утра и до вечера. Повторять – как молитву, оборотясь на восток. А пошли вы все! Потом можно продлить удовольствие, персонифицируя этих всех. Хотя всё это глупо, всё это доказывает лишь одно – тебе те посланцы (каково, а? Посланный на... – посланец!) небезразличны, они задевают тебя своим присутствием.

Что-то сегодня никак не удаётся завести разговор с тобой, ты ускользаешь куда-то. Надеюсь, Абрашино на месте, и пустующий огород, и полные закрома. Грустный и лукавый Мясников посреди всего этого хозяйства – как пугало самому себе. Стоит и пугает себя одиночеством, бессилием, неинтересностью окружающего мира. Мир и вправду становится всё менее интересным. А что тут удивительного, если объявлен приоритет гуманистических ценностей и тут

же (под знаменем гуманизма!) начато уничтожение их. Ты, Мясников, художник, ты не опустишься до жалкой газетной констатации сего факта, ты увидишь его в соседке, которая носит галоши поверх самовязанных носков.

А я на своём огороде случайно обнаружил здоровенную оранжевую тыкву – в зарослях под забором. То-то удивился! Интересно, живи ты где-нибудь под Краснодаром – что стал бы выращивать на своём огороде? Наверно, ту же картошку, лук, помидоры, фасоль, морковку. Надо ведь чуть-чуть для житья, чтобы чуть-чуть оставаться художником. Ну какая живопись в персиках, винограде, хурме? Замечательный Серов – и тот разложил персики перед девушкой на столе, в помещении.

И видится мне отдельно стоящее строение, где камин только сверху прикрыт от дождя и снега. Камин на открытом воздухе. Чтобы ночью можно было смотреть на огонь. Костёр на земле – это какой-то туризм, обязательное желание поставить на огонь какое-нибудь варево. Интересно, пытался кто-нибудь варить еду в камине?

Свой мир я по-прежнему большей частью разглядываю из окна. Расширить пространство мог бы ты, Мясников, но ты слишком ленив.

Письмо шестое

Солнце показалось в разрезе облаков. Этот разрез продолговат и тянется во всю длину горизонта. Кажется – восток горит. Так и должен начинаться день – пламенем, тогда иллюзия смысла жизни обретает черты реальности. Тогда выходит на крыльцо просветлённый Мясников и думает, что вечность начинается здесь и сейчас и, как положено ей, продлится – вечность.

Ах, Мясников! Скорее всего, я тебя придумал, как и многое другое. Но какой замечательный замысел!

На улице плюс двадцать! А послезавтра грянет зима. Не хочу!

Всегда интересно знать, насколько человек сам себя придумывает? Как бы это вывести – процентное соотношение настоящего и придуманного? У тебя, Мясников, придумана такая независимая посадка головы. А близорукие глаза – это настоящее. Вот вам сочетание!

Я плачу по ушедшему лету. Поздно. Наверно, плачут именно о том, что поздно. Поздно любить, поздно жалеть, поздно принимать подарки и поздно их делать... Поздно. Это слово само – как плач.

Мясников! Ты меня слышишь? Ты уже наврал, что приедешь через две недели. Уже прошло Бог знает сколько недель, уже ты – некий фатум, более придуманный, чем настоящий. Но, кажется, я повторяюсь...

Я лежу в палате для избранных и не могу понять, за кого они меня принимают?

Маленькие задачи, которые я ставлю перед собой, не даются. Может, потому что маленькие? Да больших я никогда и не ставил. Завоевать Итаку, погубить Карфаген...

Перед глазами ты, Мясников, вглядывающийся вдаль, туда, где за огородами тянется кромка леса, а из-за неё каждый день восходит солнце. Ты не даёшь мне

покоя, потому что мне кажется, будто в каждую следующую минуту ты открываешь в этом мире что-то новое. Меня раздрает от зависти, мой мир видится мне избитой тропой, где уж не разглядеть ни травинки, ни камушка...

Ха-ха! Они поняли, я – никто! Они вышибли меня из VIP-палаты, Мясников! Твоей философии недостаточно, чтобы оценить все превратности бытия!

Письмо седьмое

Темно на земле. Темно в Абрашино. Не видно ни Мраморного озера, ни залива, ни леса. Даже огорода не видно. Воля стала тюрьмой, стоило лишь поставить на ней сарай да посадить картошку. Картошка есть и в магазине, но для неё надо добывать деньги на подневольной службе. Квартира – с теми же требованиями к её содержанию, голодные дети, выпихивающие тебя из домашнего тепла. Всё – тюрьма. Металлургические комбинаты работают на двери и решётки – по три железных двери на семью! В тюрьме все живут. Съел пайку – на работу, пришёл – двери на замок и к телевизору. А там – шоу, сериалы, убийства. Два главных героя встретились – ах, сколько не виделись! Мир раздвинут рамками экрана, и всё заковано в броню решёток и дверей.

Дух свободы, мысль – живы ли вы? Благословенны пьяницы, ибо они – настоящие философы. Трезвый философ – это больной человек, история знает тьму подтверждений этому.

Жалко, что мир за окном такой чёрный. Днём я увидел бы новые краски, я сумел бы их разглядеть. Я позвонил своей любимой и сказал, что мы недостаточно любимы... Нет, суп из свеклы – это ещё не борщ. Милые люди, сойдите! Вас так немного, и я совсем недавно отрёкся от вас. Я продолжу эту книгу отречений, потому что нынче лишь потери могут вызвать что-то похожее на настоящее чувство. Я отрекаюсь от любимых и близких, чтобы сблизиться с ненавистниками и врагами. Ибо враг – это твоё зеркальное отражение, это ничем более не достижимое сходство – кроме как крайней степенью отрицания. Или враждой, как вам будет угодно.

Вчера пошёл к соседям по дачному участку, нужны какие-то подписи. Открыли, не спрашивая, а в глазах – да что у нас брать-то? Как-то уж очень убого и уныло живут мать и её взрослая дочь. Картошка на плите, соленья с огорода на столе... Что же вместо радости? На ночь – долгое гляденье в темноту комнаты и полумечты-полупланы. Нет, не так. Планы – завтрашняя картошка, мечты – о том, что уже никогда не случится. Это бандитизм – отнимать у человека надежду.

Надо смертельно уставать, чтобы засыпать побыстрее.

Письмо восьмое

Мясников! Я хочу, чтобы ты надел фрак. Или, на худой конец, сюртук. И обязательно – белоснежную бабочку и лаковые штилеты. Тебе бы вручали какую-нибудь премию за художества в области графики либо литературного письма, а ты бы стоял дурак дураком и думал об одном: как это неприятно и неудобно, что на ногах противные лаковые опорки, а не любимые огородные галоши.

Наверно, ещё можно поймать в сети судака, крупную сорогу, подлещика. Но руки коченеют, когда выбираешь рыбу из ячеек, когда снимаешь снасти... Скоро тебя занесёт снегом, и ты по-прежнему будешь делать вид, что удачно вписан в эту стихию, называемую деревенской жизнью. Будешь откапывать калитку и дорожку к туалету, будешь скупать местный самогон на деньги, доставленные из города с оказией. А то обнаружишь их в старой, забытой куртке, сколько уж раз так бывало! Потом, очевидно, будешь пить самогон с теми, у кого покупал его.

На самом деле тебе обрыдло твоё Абрашино, ты окончательно возненавидел своих соседей, а собаки, эти жуткие твари, хватают тебя за штаны даже на твоём собственном подворье. Мучительные потуги что-то из себя представлять не оставляют времени просто жить... А сегодня опять солнце, день будет чудесный. Какая гипертония, о чём вы, господа?

А ты, Мясников, представляешься мне князем Меньшиковым в Берёзове. Замерзающий, закутанный в шаль. Но знающий: есть замечательный сюжет за тридевятьтым морем... Настоящий мир не имеет ни цены, ни ценности, всем этим наделяют его существа разумные, им даже кажется, что они могут улучшить его или, наоборот, сделать хуже. Творить можно – лишь издеваясь над собой, больше мастерства – больше зверства. А как любить? А что любить? А чем любить? Обманывать – вот это имеет самое прямое отношение к искусству. А письмо... Портновское занятие, где на всё надо натянуть тесноватый сюрук сюжета. Да как же вы примеряли, господа? Где и чему вы учились?

Письмо девятое

Оп-па, Мясников! Снег пошёл! А я пометил в начале – двадцать восьмое сентября. Ты тоже не обратил внимания, да? Подумаешь, ошибся на месяц! Обьединять лечение от гипертонии с красным шмурдяком – наверно, неправильно. Вчера были в деревне, жарили шашлыки и пили вино. Говорили об эгоизме, неуступчивости, то есть о совместном житье-бытье. Притом на лицах у всех печать одиночества – прошлого, сегодняшнего, будущего... А потом замечательное посещение дома, где печка и камин удивительно хорошо сложены хозяином, а хозяйка, разбитная курильщица, весело говорила про мужа-пьяницу, что талант не пропьёшь. Фотографировались с огромными тыквами, причём ощущение, что это они фотографируются с нами, до того важен и велик овощ!

Ходили смотрели дома, наша подруга Ирка делала вид, что выбирает себе место жительства. Этот дом, по её мнению, тёплый, а вот тот совсем холодный. Были даже глупые дома... Деревня потихоньку уходит в зиму, это уже совсем другое существо – деревня зимой.

Милая щебетунья Ирка – этакий порочный самоцвет, в ком сочетается наивность, детская непримиримость, жизненный опыт и всё тот же эгоизм. Вообще-то мне давно неинтересно наблюдать за людьми, все они составлены по схемам, коих наберётся от силы десятка полтора. Мясниковы – штучный товар, редкость. Причём, я думаю, ты уверен, что в Новосибирске нет ни настоящих художников, ни творческой атмосферы. Я то же самое говорю про Барнаул. Ты ошибаешься, стало быть, я – тоже.

Один мой знакомый улетает в Германию. У него двойное гражданство. Даже представить себе не могу ощущения человека с двумя гражданствами. Наверно, обращаться к нему – гражданин – неправильно. А как? Граждане? Мне что-то одной родины многовато, а тут целых две. Интересно.

Но что я делаю? Что делаю! На какую такую нужду извожу бумагу? Назови это словом, Мясников, прошу тебя, ты умный!

Уже час, как я на ногах, а будильник показывает половину шестого. Старческие ранние подъёмы. А ты, Мясников, уже вылез из своей конуры? Помочился на стылую землю? Ты уже успел подумать, что сегодня будет для тебя новым? Что обратится миражом из только что бывшего сущим? Ты уже решил, у кого из соседей пойдёшь покупать самогонку? У тебя сегодня день встречи с одноклассниками. Приедут, не приедут – это не важно, призраки бывают плотнее настоящих. Если допустить, что «плотность» происходит от слова «плоть». Надо будет напиться, чтобы не ломать голову, как могла столь короткая жизнь так изуродовать всех твоих сверстников. Наверно, лучше придумать другой праздник. К примеру – из Барнаула приезжает твой друг, художник. Это большое событие, и без самогонки тут никак не обойтись. Можно и день рождения комсомола отметить. Кстати! Ха-ха! Можно сразу же справить поминки по нему.

Жизнь ничто без прививки безумия. Очередная угроза остаться без работы. Поборемся! По данным ВЦИОМа, недоверие к правительству высказали девяносто семь процентов опрошенных, к прокуратуре – девяносто шесть, к президенту – семьдесят. Никто не чувствует себя обесщеченным, никто не идёт стреляться.

А за окном снег, ветер и слякоть – замечательный ноябрьский коктейль. Ты сидишь насупленный и бессонный, у тебя нет керосина, закончились сигареты и свечи. От трезвой злости ты бы немедленно взялся за перо, написал бы, как в очередной раз тебе открылись самые потаённые уголки мира, осветились тайны, которые люди прячут даже от самих себя. И ты увидел бы среди величия и хаоса своего друга, занимающегося онанизмом, тогда как в соседней комнате его жена изнывает от желания и любви к мужу.

Самое трудное – пережить это затянувшееся утро. Лучше бы дали свет, чтобы у тебя появилось занятие, не то увидишь нечто страшное про себя. Ты, очевидно, думал, что уж про себя-то всё давным-давно знаешь. Какое заблуждение!

Письмо десятое

Я отрекаюсь от всего того, что было лучшим в моей жизни. Или предполагалось быть лучшим, но было испорчено благодаря моим стараниям. Отречься от дорогого, от значительного – вот бунт, доказывающий понимание бессмысленности всего происходящего. Какая глупость – жить и доказывать бессмысленность жизни! Но доказывать смысл жизни – не лучше того.

Великолепные сюжеты, великолепные слова... Вдруг за всей гениальностью и прозорливостью поэта я вижу испуг. Никогда и никто не обнаруживал этого в Башунове. Испуг, да. Однако на то и поэт, чтобы его чувства приобрели космические масштабы и не миновали тебя. «Но не поддамся испугу», – восклицает

он, напуганный. Это ведь ни хорошо и ни плохо, это есть, как родимое пятно, как вековечная отметина.

Мясников! Твой голос всё тише... Вчера по ошибке заехали в какой-то незнакомый лес. Едва выбрались. После долгих пасмурных дней солнце вышло посмотреть на нас, идиотов. А о тебе я даже не вспомнил. Далёкие голоса всё менее различимы.

Жуткие морозы. Очередные похороны. Встретил богатого художника. Ты вот талантлив, а богат не будешь. Впрочем, тебя это и не занимает. Душа замкнулась, поговорить ей не с кем. Такое ощущение, что ей противен и сам носитель её. А душу нельзя скоро и по заказу переподчинить. Она не может стать ни лучше, ни хуже, она – данность. Но ведь говорят же – душа испакостилась, значит – бывает, меняется? Зимой её совершенно нечем лечить – ни леса, ни речки... Кто-то зовёт и зовёт – приди!.. Только не говори, что это чья-то душа общения просит. Никто не узнает, соглашается она или нет с тем, что выбирает для себя её хозяин – она вторична, она спутник. И потому она подвержена насилию. Душа ранима...

Зимние могилы печальны вдвойне. Упокоившимся в земле не нужны прощения. И похвалы, и поздние признания...

Писательская братия всё так же скучна и нелепа – от барственных москвичей до угрюмых провинциалов.

Хочу в Сан-Франциско, хочу посмотреть на Елену, поговорить с ней. Мир стал доступнее, только отчего-то не для меня. И опять что-то кому-то надо, а я устал и не хочу. Госпожа лень раскрывает свои объятя, но тщетно. Ленишься – занятие избранных. Мясников! Ты меня слышишь? В твоём Абрашино замело пути-дороги, хотя, думаю, дорогие джипы, сновавшие летом туда-сюда, пробьют себе дорогу. Им, тупым, отупевшим от денег, тоже хочется романтики. Допускаю даже, что им как раз хочется её куда больше, чем остальным, у кого вся жизнь – сплошная романтика. Изошрённые способы выжить, заработать, пробиться, пропихнуться вопреки задаче правителей – извести этот постылый народ. Очень романтично, не правда ли? Тебе, Мясников, не надо зарабатывать для кого-то, великое счастье.

Надо работать, надо кого-то поселить в домик, который я сам не построил. Вот такая фата-моргана – не построенный дом. Бывает.

Белое одичание. Абрашино. Дом, занесённый под крышу. Поутру открывается дверь, и в проёме...

Письмо одиннадцатое

По-моему, я опять уснул, не дописав предложение. Портвейн был бодрящий.

Господин-товарищ Мясников! Я выношу вам самый суровый приговор – признать Н. Мясникова безнадёжно далёким от мира городских пьяниц-художников. Заклеймить позором за то, что он столь же далёк от прочих пьяниц, поскольку в Абрашино давно выпита вся самогонка, а дороги не прочищены, и государевы напитки не на чем подвезти. Да жив ли твой единственный сосед и

постоялец – кот? Его сородича я только что видел в мастерской художника Скурихина, с которым ты меня и познакомил. В мастерской всего четыре градуса, и кот, очевидно, давно ошалел от холода. Нигде не испытываешь столь сильного чувства сиротства, как в мастерских художников. Все они разведены, потеряли жильё и проживают тут же, где творят. Пёстрые интерьеры должны бы радовать своеобразием, выдумкой – как бы не так! Заросшие пылью замечательные вещи кричат со всех сторон: что бы сюда ни попало – всё тут же обростёт сиротством. Пыль вековая день ото дня уплотняется, она смеётся над хозяином помещения, над его работами, над самим искусством. Ибо она переживёт всё, а первым среди прочего в прах превратится сам художник, который всё здесь придумал и завёл эту самую пыль.

Старый, растрескавшийся контрабас, скрипка, помещённая в корпус от старинных настенных часов, мандолина, строй которой неизвестен художнику. А то бы сыграл, – нахально заявляет он.

Увы, я уже замечен. Это знание не даёт мне покоя – как бесенята распорядятся мной? И почему им дано это право – мной распорядиться?

Минус сорок! Матисс изрёк: у художника один серьёзный враг – его собственные картины. Всё так. А у человека вообще – он сам. Мои деревья, наверно, замёрзли, такого мороза им не выдержать. Мои птицы умирают на лету. А под окном мужики копают траншею. Им деваться некуда, лом, лопата – и вперёд. Полёт мысли давно уже остановлен – тоже замёрз. Современные ведуны утверждают, что мы живём в «центре мироздания», и потому нас минуют природные катаклизмы. Величественные непогоды никак не могут научить человека, сбить с него гордыню.

Дорогой друг Мясников! Ты, наверно, уже извёл все дрова, чтобы не замёрзнуть в эту лютую зиму. А вот не спросил же я тебя, рыбачишь ли ты зимой? Летом у тебя это получалось очень даже неплохо. Интересно, почему ты не заведёшь собаку? Я думаю, ты в какой-то степени всё-таки считаешь себя дачником, а дачнику собаку заводить хлопотно. Уезжая в город, её необходимо забирать с собой. Собак ведь не бросают, не так ли?

Что-то маловато оснований для оптимизма, их надо отыскивать, как золотые песчинки в тоннах отвала. Или придумывать, сочинять оптимизм без оснований. Но это уже формула идиотизма.

По мне тоскует моя мечта, брошенная, оставленная без присмотра. Она взывает к памяти, ибо к сердцу взывать бесполезно. По мне тоскует не построенный домик у озера. Вот уже сорок лет по мне тоскует Наташа из Хабаровска. По мне тоскуют острова Кука, Новая Зеландия и маленький кусочек Адриатики, где ступала нога моей далёкой возлюбленной.

Остаток зимы провожу в больнице, где мне усиленно пытаются внушить: чтобы быть здоровым, надо перестать жить.

Письмо двенадцатое

Некоторые древние философы из свойств души выделяли память, разум и волю. А понтийский царь Митридат дал имя краснодарскому вину. Ничего так

винцо, считается почему-то розовым, хотя на вид абсолютно красное.

Эпоха Возрождения довольно скоро сменилась эпохой Вырождения, и если главное мерило одной – красота, искусство, то другая похвалается железом и прочими металлами, изъятими у Земли. Для величия достаточно глины и камня, для низости мало всех ископаемых и механизированных премудростей новых веков.

Кстати, зима-то уже и кончилась. Ты, Мясников, герой, ты пережил её. Имей в виду, весны нынче снова не будет, помяются в холодах апрель с маем – и сразу грянет лето. Я решил нынче не сажать картошку. Впервые за тридцать с лишним лет. Похоже, что-то разладилось в правильном обращении времени, где от картошки до картошки – год. Это свой счёт, как в древнерусском календаре, начинавшемся двадцать первого сентября. Аккурат – уборка картофеля. Интересно находить совпадения в исторических датах. Не могли же те давние русичи знать христианского календаря, по которому двадцать первое сентября – день рождения Матери Господней! Да и картошки наши дальние предки не знали. Сей заокеанский продукт завезён из Америки много позднее.

Дорогой Н. Мясников, он же – Николай М.! Не виделись мы уже много времени, и каждый из прошедших в разлуке дней я посчитал бы за три. Ты же так и не завёл собаку. Правильно. Ведь ты не хочешь ни о ком заботиться. Сидишь себе на крыльчке, нагретом солнцем, и пьёшь самогонку. Пьёшь, не отпирайся, я точно знаю! Пьёшь и жмуришься, как кот. Так пить её, родимую, может только истинный знаток.

Честно сказать, Коля, писать особенно не о чем, нет подпитки нашим с тобой отношениям. Да и нет их, отношений, как не было никогда. Я так вижу тебя таким котом, не как бы – а настоящим, замечательного трёхмастного окраса. Огородный охотник за воробьями и мышами. Прячешься в грядках, увлечённый собой, своей охотой, своей жизнью и талантом. Но... Ловкость уходит, птички и мышки разбегаются. Кошачий век тоже не вечен. И талант может умереть раньше своего обладателя, его брэнной оболочки. Он, талант, тоже смертен.

Да, Коля, высокое искусство писать письма осталось в прошлом вместе с уроками риторики и хиромантии. Надо же, учились этому – красиво говорить и читать по линиям руки!

Сегодня ты, точно тот герой из Бабеля. Так и вижу тебя вышедшим на ваш деревенский большак, по которому пылят редкие телеги и частые «круизеры». Стоишь ты растерянный среди зноя и едва улёгшейся пыли, очками поблёскиваешь. И будто бы не знаешь, куда идти. И я, Коля, не знаю. Хотя каждый день выхожу из дому и отправляюсь на работу, чего страстно не хочу делать. Платили бы деньги, чтобы не путался в ногах у человечества. У него, человечества, свои задачи, не известные мне. Но я его ценю и уважаю, может, как раз за это самое.

Письмо тринадцатое

Дорогой Мясников! Всё никак не доеду до тебя. Сiju и представляю, какую точку принесёт тебе совсем уже скорое время. Ничего, Коля, переживём! Сладкие дожди поливают землю, что-то томительное рвётся изнутри – как в

молодости. Молод ли ты ещё, Коля? Наверно, ты опять обманул кого-нибудь, и как ты не устаёшь обманывать?

Зашёл в книжный магазин, там меж стеллажей бродят три городских полудиота. Вот он, читатель нового времени! Уже год как нет Шипилова, дыра во Вселенной. Мои возлюбленные соседи по этой жизни наделали этих дыр великое множество.

Дети мои несамостоятельны, и потому надо искать работу. А что я умею? Уже не пойдёшь махать ломом и лопатой, годы не те, силы не те.

В голове удивительная пустота, и маленькие человечки вокруг. И великие амбиции... Длиннополое пальто, берет, кашне в два оборота вокруг шеи... Да-да, берет и кашне, внешние приметы любимой богемы. Нет больше этого слова, нет этого понятия. Пусть теперь китайцы создают русскую литературу, они всё могут. Наверно, надо лишить человека всего, чтобы наделить бешеным трудолюбием. Китайцы и музыку нашу перепишут, загонят Чайковского, Бородина, Свиридова в свою пентатонику – запросто.

А то освоят наши семь нот, будут сочинять в нашем строе.

Я вижу потомков твоих, Мясников, с жёлтой кожей и узким разрезом глаз. Они, правда, не получают генного заряда трудолюбия. Однако китайцами будут все – и творцы, и купчата, и даже бомжи.

Сегодня двадцать первый день я без работы, то есть по закону непрерывность моего трудового стажа нарушена. Трудовой стаж! Тьфу! К человеку столько приставок придумали! Ещё – пенсионный возраст, к примеру. Одна анкета чего стоит!

А я вот думаю: приехал я вдруг к тебе, говорю на пороге – ну, здравствуй, Мясников! И угадываю по выражению твоего лица поиск чего-нибудь этакого. Скорее всего, ты остановишься на фразе, никакого отношения ко мне не имеющей. Будто мы и не расставались на год с лишним, будто накануне ввечеру прикончили литр самогонки. Кстати, почему вы её не очищаете, не улучшаете, так сказать, вкусовые и ароматические качества? Зело вонюче зелье! Предвижу ответ – а зачем? И вправду, зачем, если и так всё будет выпито?

Итак, мы остановились на фразе, которую ты подготовил к нашей встрече. Нет, это будет не фраза, а некий трактат из жизни животных. Будто бы, вопреки всем утверждениям, что мыши и крысы не выносят соседства друг с другом, в твоём доме они прекрасно уживаются и даже не ссорятся. Бывает, на прогулку выходят из подполья бок о бок. Сам наблюдал. Особенность – мыши жрут картошку поглубже в зиму, а крысы начинают с осени. Кота они общими усилиями изгнали из дому. Думаю, надо начинать опыт по отбору крысобоя, чтобы заменил мне кота. Я ему уже костюмчик придумал. Пожалуй, прямо завтра и приступлю, не то они так сдружатся, что устроят симбиоз на генном уровне и выведут крысомыша...

Потом мы пойдём пить вонючую самогонку, и ты, как всегда, будешь отодвигать еду, настаивая на том, что в горючей жидкости питательных веществ достаточно.

Не поеду я нынче к тебе, извини. Прособирался, а теперь вот и деньги кончились. Выпей за меня, а я за тебя – здесь. Скурихину не звоню, что-то мы друг другу не показались. И портрет он плохой нарисовал.

Сегодня купил костей аж пять килограммов. Супы можно варить месяца полтора, а то и больше. Я играю в бедного и в ум не беру, что беден на самом деле. Мне нечего продать, моя мышечная сила ничего не стоит, износилась, мои мозги никому не нужны. Это вообще на сегодня самая ненужная вещь на свете.

Но томительно сладкие дожди тоже могут служить призывом к жизни. Два года назад какие-то прожорливые гусеницы извели большой карагач у моего подъезда. Год он простоял мёртвым, потом его спилили почти вровень с землёй. А нынче на том месте пошли новые побеги.

Письмо четырнадцатое

Вот ночная странность. Открываю книгу Башунова – «нехоть напала, куда бы уехать...».

Ещё немного – и отправимся в Советское, хоронить Прутковского. Сколько уже их, не дошедших до шестидесяти! Милые мои ИНО – странцы! Эх, Эдуард Эдуардович! Так и не поговорили. Всё собирались. Где-то далеко в себе он был спрятан, обычно такое происходит с людьми нежными, ранимыми. Я знаю, он такой и был. Горы остались, озёра, всё, что связывало его с жизнью. Вот интересно, а ТАМ горы есть?

Вокзал. Ожидание. Следующей станции не будет.

Здравствуй, Мясников! Вот поел лапши на мясном бульоне – хорошо. Есть ли в твоём супе мясо? И вообще – как ты там? Кстати – где ты? Может, вовсе и не в Абрашино? Сидишь в уютной городской квартире в вашем сером и промозглом Новосибирске. Сунул ноги в старые обрезанные валенки и посмеиваешься над всеми. Завидуйте, мол, дураки, бездомности моей, бесприютности, одиночеству и напяливайте на всё это романтические одежды. На здоровье... Почему тебе, Мясников, обязательно надо кого-нибудь дурить? Наверно, оттого что ты сам больше всего боишься быть обманутым.

Я вижу, как замыкаются твои круги. Сначала прогулки вокруг Абрашино, за дальними границами села. Затем вдоль поскотины, ближе к околице, потом улицами, потом вокруг своего огорода, дома, долгие посиделки на крыльце... И, наконец, юрк в глубину своего заточения – и всё, двигаться больше некуда. И сказать нечего. И написать. Ты пришёл в себя, как в конечный пункт путешествия. Пришёл туда, откуда вышел. Тебе ничего не остаётся, кроме как ещё сильнее возненавидеть своих соседей. И ты получишь заслуженный ответ. Нечто подобное описал Камю – «...и пусть меня встретят криками ненависти...».

Мясников! Ты меня слышишь? Думаю, всё-таки ты ещё не доел себя окончательно и продолжаешь надкусывать свою бессмертную душу, выделяя в качестве освобождённой энергии какие-то строчки. Это ещё не совсем повторы, но уже перепевы. А впрочем, прими мои домыслы за попытки обнести тебя границами. На самом деле я ведь знаю – ты безграничен. Но всё равно скажу тебе: виден, виден предел за толстыми стёклами твоих очков. Я смотрю в твои линзы с обратной стороны.

Мысли мои всё время возвращаются к тебе, однако тут же ускользают, отвлекаются. Вижу твой огород, твою избушку – и всё будто в каком-то старом,

заезженном кино. Оно не блещет достоинствами, но из-за распутицы новый фильм не завезли, крутят и крутят этот. Огород, избушка, одинокий человек, прячущий глаза за толстыми линзами. Что-то у него в голове? Что в голове у тебя, Мясников? Или ты приблизился к миру настолько, что выправил забор, завёз назём на свои грядки, отремонтировал крыльцо? Или отдалился так, что не замечаешь не только порухи в собственном хозяйстве, но и течения времени? Оно остановилось, оно – некто сидящий за столом перед зашторенным окном и перелистывающий календарь: зима, весна, лето... Времена года – лишь набор иллюстраций, памятные фотографии о бывшем когда-то.

Автовокзал. Жду автобуса, чтобы уехать в Бийск. Интересно, есть автобус, которым можно доехать до Абрашино? Отчего бы не быть, но, скорее всего – с пересадкой. Твой дом находится на северо-западе от моего. Направление это ничем не хуже и не лучше любого другого, хотя, если б ты жил, скажем, в южном направлении, я видел бы тебя чаще, потому что в той стороне мой любимый Горный Алтай. И ты был бы другим, природа дорисовывает лицо человека, местность наносит свои черты.

Мне сообщить тебе нечего, ибо в жизни моей ничего не происходит... Времени до автобуса ещё много, сейчас буду звонить Скурихину, узнавать про тебя.

Письмо пятнадцатое

Облака барашками переплывают от крыши к крыше. На оконный слив хозяйка из дома напротив насыпала крошек. Голуби – символ любви и мира – дерутся, сталкивая друг друга вниз, а крошки ссыпаются на тротуар, так никому и не доставшись. Глупые птицы – прямо как люди.

Недоверие к окружающему миру таково, что хочется повернуться к нему спиной, посмотреть на него шиворот-навыворот. Вот – сойти с ума и не попасть в сумасшедший дом! Но тут опасность – побьют камнями, как инородца, иноверца, инобыльца. У нас в городе много сумасшедших, и нет среди них одного, кто бы не был побит, изуродован возлюбленными согражданами. Раньше говорили – юродивый, Божий человек, блаженный. Понимали – он по-своему общается с миром, иначе, – и всего-то. Сейчас «по-своему» разрешено только для того, кто может купить себе место на острове Инобыль. (Придумка Коли Шипилова). А бьют – понимают по недомыслию, что юродивый и уродливый – одно и то же. Приводят, так сказать, в соответствие.

Мясников! Ты самый умный, потому что сам по себе. Понимаю, как тягостно это временами, но ты ведь знаешь, что не менее тягостно соседство с людьми. Ты только героя из себя не строй! Когда тоска изъест твоё сердце, страшно предположить, куда ты помчишься и как скоро. Всё это ерунда – будто работа избавляет от тоски. Бетон месить – да, и то на время. Почему жить так трудно, Мясников? Ведь всё в нас, и добавить снаружи куда труднее, чем вытащить изнутри. Один мой знакомый с преувеличенной бодростью в голосе сообщил, что его жена почти ослепла, безнадежно больна ещё чем-то. Подумать – молодец, держится!.. Ан нет – идиот! Держаться – это держать при себе.

Я знаю, ты ведь сбежал от женщины, которую очень любил. Но вот беда, она

не могла быть твоей, она по призванию, предназначению своему не могла быть чьей-то. А твоя пылкая душа ждала ответа...

Но вот ты доходишь до некоего предела и берёшь в свой абрашинский дом хозяйку из местных. Деревенские женщины в наших с тобой годах – старухи. А молодых в ваших краях давно уже нет, и ты вынужден довольствоваться тем, что наличествует... Придёт же в голову! Или такой сюжет. Ты распродал кое-что из оставшегося в городе имущества, реализовал часть своего несметного урожая и купил маленькую ленточную лесопилку. И трудишься, распуская брёвна на доски для местных дачников-буржуев, которые ведут себя как захватчики. Тебе кажется, что ты дерёшь с них три шкуры, а им всё нипочём. Нет, это совсем уж фантастическая история. Ты по-прежнему лениво будешь отправлять своих соседей в Париж, всех знакомых разгонишь по белу свету и пальцем не пошевелишь, чтобы заделать дырку в заборе. Работать на лесопилке? Нет, я так далеко зашёл в своих фантазиях, что это действительно близко к безумию. Только лень и безделье – настоящие родственники философии. А ты – философ от Бога, это как сумасшедший с рождения – избранник.

Письмо шестнадцатое

Ты живёшь далеко от живых, но так же далеко от мёртвых. Впрочем, мои могилы под боком, но в последнее время я всё реже их навещаю. И всё думаю, удалось убежать тебе от обмана, или, наоборот, ты погрузился в него безвозвратно? Лес не врёт, река не врёт, Мраморное озеро – тоже... Тебе бы женщину, которая умела бы изредка тосковать по тебе. Неожиданно срывалась в твоё непутёвое Абрашино и приносила бы иллюзию греха и любви. Она была бы уже тем хороша, что появлялась бы ненадолго. И ты ведь когда-то знал таких. Что же нынче? Мир перестал быть романтичным и шалым и заказал чадам своим слетать с катушек.

Дошло до меня, приезжал к тебе старинный друг с семьёй, и ты переспал с его дочерью. И возомнил сей случай великой любовной историей. На самом деле всё не так. Ты отомстил другу за его городскую жизнь, отобранную у тебя тобой самим, за семью, за красивую дочь, за возможность заниматься любовью с вольными женщинами. Ты не учёл, что «девочке» уже тридцать, и она повидала в жизни немногим меньше твоего. Зато ты отважился сесть за роман. И героиня уже найдена. Что ж, удачи!

А не такой уж никчёмной была мысль завести тебе корову. Ещё к тому – козу, овцу и женщину. Тебе нужны новые ощущения, испытания, усилия, наконец. Про местных мы уже говорили, может, попробовать из соседней деревни? Может, там ещё остались молодые? Там пьют так же, как у вас в Абрашино, но хоть не у тебя перед глазами. Она, наследница пьяных иноземных кровей, смешает свою с твоей. Так начнётся омолаживание нации при твоём участии.

Я на берегу Катуня, невдалеке рыбак. Загадываю – поймает рыбку или нет? Накануне моему другу детства исполнилось шестьдесят. Не стал его поздравлять, потому что вдруг ощутил ненужность всего этого – детская дружба, годы, через которые мы пронесли... Что пронесли?

Забыл, как ты выглядишь. Помню очки, вялый подбородок, седоватые волосы... Иногда думаю, что мне нет никакого дела до тебя. Место нравится, место, в котором ты поселился, а не я. В этом смысле ты занял моё место. И таких много. В районе Чемала вместо меня живёт бывший заводской инженер, в Семёновке – Слободчиков, во Всеволожске под Питером – Алексеев...

У тебя уже начались первые осенние непогоды? Ведь мы совсем недалеко друг от друга, каких-нибудь триста километров. А не дойти, не доехать... Огород нынче не радуется, но картошка будет, это я тебе как опытный огородник обещаю. Ты, наверно, что-то пишешь, что-то ещё исторгает из себя душа, израненная одиночеством и самогоном. Что нового скажешь ты людям, свирепая крыса, загнанная в угол с названием Абрашино? Сейчас уже утро, ты уже выходил из дому, уже проверил наличие неба и повалившегося забора. И вновь завалился на топчан. Мир на месте, можно не торопиться спасать его или переустраивать.

А я сижу на скале, подо мной шумит Катунь, и нет никаких слов, чтобы описать этот шум, эти горы в пихтовом оперенье, эти сосны, этот кедр, выросший из скалы, этот цветущий маральник. Вот захотелось ему зацвести под осень – он и зацвёл. Для познания собственной сути необходимо опереться о величие. И слава Творцу, что нет ничего величественнее природы. Наверно, ты ходишь смотреть на обскую воду, в тамошних местах она совсем другая, нежели под Барнаулом. Там чище, шире, величавее. Впрочем, ты ведь больше любишь бывать в лесу, во сыром бору, и вглядываться в таинственный мрак, поселившийся в старых соснах. Вижу, как ты пошёл со двора. Не знаю – куда, но ведь ты и сам не знаешь. Надо идти, иначе можно насмерть прирасти к этому огороду, к этому топчану... Надо идти.

Письмо семнадцатое

Временами я ненавижу тебя, Мясников, потому что всё-таки завидую. Ты вчерашний суп будешь доедать? Или, как всегда, напился накануне, забыл убрать в холодильник, и он, суп то есть, прокис. Так, что ли?

Нынче вижу тебя окрепшим, восставшим от ипохондрии и глубокого чувства неполноценности. Неужели она, та самая дочь твоих друзей? Неплохо, если учесть, что влюбиться ты уже не можешь, да и она – прагматичная, расчётливая, циничная особа, уже изведавшая той любви, которая то и дело надкусывает настоящую. Раз, другой, третий – и уже от той, настоящей, остаётся жалкий огрызок. Кому-то он достанется! Не тебе, не огорчайся до срока, тебе от неё не будет даже этого. Она пошалила назло маме, папе, которые тоже шалят. Но не отчаивайся, ты получил любовное похмелье в виде вдохновенья – счастливчик! Роман без ответственности с продолжением в яркой строке – что ещё нужно писателю? Ты ведь ещё писатель, а? Отзовись!

Вторые сутки дождь без перерыва. А у тебя, Мясников, хорошая погода. И тебе, очевидно, сладко оттого, что я опять тебе завидую. Да и ладно, мелкий паразит, питающийся отбросами настоящих чувств! Но бойся! Завтра и к тебе придёт дождь, мелкий, заунывный, затяжной. И твоя шизофрения родит твою

очередную ипостась. И кто же будет на этот раз? Говорят, на первых стадиях (а у тебя, надеюсь, ещё не очень далеко зашло) сознание, раздваиваясь, рождает нечто близкое к первородной сути, то есть Мясников-II не будет сильно отличаться от Мясникова-I. Это потом уже ты станешь выбиваться в Наполеоны и Хрущёвы...

Ты собрал свой урожай, подготовил листочки с новыми рассказами для журнала. Лениво поглядываешь на шкаф, где висит городской костюм. И так же лениво думаешь: а неплохо было бы заявиться в редакцию в ватнике. Потом вспомнишь, что женщин там совсем не осталось, и производить впечатление не на кого. Ты ещё достаточно молод, чтобы думать, как произвести впечатление, но уже порядочно стар, чтобы прикладывать усилия, создавая его. Впрочем, я посоветовал бы тебе заглянуть в шкафчик, костюм-то моль почикала! Ты, конечно, был уверен, что в деревенских домах эта тварь не заводится – как бы не так!

Мясников! А ведь именно таким образом мир рушится – начиная с прогнувшейся доски на крыльце, с дырки на штанах... Развод, потеря жилья, места на службе – это уже потом, это наполеоны в ряду потерь, сначала идут утраты помельче.

Осень. Божьи коровки расплодились в великом множестве и стали кусаться, открещиваясь от своего нежного названия. Теперь уже наверняка неубранный хлеб погибнет. Кто же мог предположить, что к октябрю зерно не успеет созреть? Тоскливо мокнувшие нивы – жуткое зрелище.

А почему бы тебе, Мясников, не отпустить бороду? Она скрыла бы твой безвольный подбородок. Ах, извини, ты ведь считаешь, что он у тебя как раз волевой. Что? И многие так считают? Может быть, может быть... Нет, с бородой тебе нельзя, ибо бритьё – одно из немногих ежедневных ритуалов, которые оборачивают человека к жизни. Или направляют к ней – как тебе больше понравится.

Мясников! Я нынче в разъездах, вот так-то! Ты находишь успокоение в своём медвежьем углу, я – в беготне, в гонке за лидером, где предполагаемый лидер – я сам. Только тут всё наоборот. Я и всё множество моих «Я» без конца убегают от меня. Такая вот нескончаемая игра. Впрочем, в неё играют все.

Да, ещё о твоей внешности. Вам, скитальцам, очевидно, выдают специальную краску для волос. Другие – седые, сивые, белые, а у вас волосы какие-то серо-стальные. Вообще-то ты всё больше и большеходишь на брошенного всеми деда. Тебе не нашлось места в доме престарелых, в богадельне, и тебя отправили сюда. Твои очки, придававшие до времени лицу некий смысл, даже замысел, теперь добавляют к портрету обычную старческую слабость зрения.

Уголь тебе завезли? Дровами много не натопишься... У тебя опять новые соседи. Да, ребята с деньгами давно уже разрушили твою идею творческого скита, превратив тихое, уединённое место в дачный посёлок. Опять у тебя что-то отбирают. И так будет всегда?

Письмо восемнадцатое

Ты думаешь, что спокойствие обретено тобой в результате постижения простой истины – резкие, необдуманные шаги приводят к лишним хлопотам. Однако тут ничего не поделаешь, потому что те самые резкие движения необходимы в жизни – как замена прививки безумия. Иначе окружающее становится разумно скучным (или скучно-разумным, кому как больше нравится). Наверно, участие в искусстве требует искусственного поддержания тонуса, то есть против привычного течения жизни необходимы лекарства. А тут уж у кого и насколько сил и фантазии хватит. К сожалению, часто подобное излечение привлекает чьё-то внимание, со временем вокруг образуется толпа и возрастает гомон. Но самое отвратительное во всём этом, что всплеск, взрыв, смена ритма или декораций чаще всего происходит как раз под влиянием поступков других, поведения или безучастия той самой толпы. Как всегда – тебя дёргают, и ты дёргаешься, думая, будто исследуешь путь к настоящим чувствам, без чего искусство мертво. Как мертво оно без почвенного начала. Мы садимся на эту почву голыми задницами и считаем, что проблема решена. Но в том-то и дело, в том секрет: следующим шагом необходимо попытаться соединить вечное приращение Земли с вечной тягой к Космосу. Увы...

Из своей недавней поездки в город ты не привёз ничего, кроме очередного разочарования.

Новосибирск, особенно центр, становится всё краше, и тем подчёркивает вывод: снаружи ничего невозможно украсить. Жизнь, мир, наполняющий её, всё более мрачен, несправедлив, алчен, ограничен в высоте стремлений. Ты сказал это себе и подумал; а что в чём? Жизнь наполняет мир или наоборот? Вопрос из дискуссии о «Войне и мире» Льва Толстого. Та дискуссия, как и сам автор, не смогли доподлинно объяснить широту и в целом объёмность слова (значения?) «мир». Ясно одно – речь идёт не о военном бездействии. Может, всё-таки мир охватывает собой жизнь? Рядом с нею бок о бок ходит смерть, её-то куда девать, эту вечную спутницу всего живого?

Когда нечего писать, ты изображаешь себя. Наверно, все художники так поступают, хотя – посмотришь – многие вроде не очень напрягаются в поисках тем и объектов изображения. Всё дело в поисках того самого фокуса, благодаря которому ты, устремившись в Космос, остаёшься на Земле. Бесчисленные речки, кусты и деревья... И вот – в замкнутом пространстве четырёх стен – ощущение природы... Иллюзия. Но то и есть искусство. «Ночь над Днепром» Архипа Куинджи не изображает почти ничего. Но какая живопись! Это же надо так изобразить сплошную темноту, чтобы увидевший обмер от восторга!.. Теперь уже бессмысленно искать свои портреты. Ты их столько написал! И ни одного правдивого. Ты распылил себя, используя отдельные реальные чёточки и смешивая их с придуманными. Ты положил свой лик на алтарь изображения множества лирических героев. Размножился – и с тем потерялся, истаял. Мог ли ты предполагать такую опасность? Вряд ли кто задумывается об этом, упреждая свои шаги. Сие – почти всегда результат содеянного. Из множества покушений на самого себя это, пожалуй, самое тяжкое. В итоге ты уже не узнаешь, какой

ты на самом деле. Зато есть новое занятие: поверив в одного себя, начинаешь убеждаться, что ты – другой...

Письмо девятнадцатое

Мне скучно, Мясников! Скучно даже то, что я сейчас делаю – пишу тебе. Я ведь специально сделал из тебя значительную фигуру, как-то не пристало писать Бог весть кому... Вот беда, скучно даже говорить тебе гадости!

Опять листал книжки некоего писателя Николая Мясникова. Боюсь, Коля, твои виртуозные рассказы впредь никто не оценит, потому что информативно они чрезвычайно бедны. Увы, информация для духовного обогащения не считается уже предметом познания мира. Я, конечно же, стар, никто не возражает против этого, но я ещё не слеп, не слабоумен, чтобы не видеть: человечество впадает в детство, когда яркие краски выходят на первое место, когда ассоциативные ряды истончаются и теряют своё назначение. Когда развитие ума и психики идёт в обратном направлении – от третьей сигнальной системы – ко второй, а затем – к первой. Новое детство нового человечества – вот что грядёт. И надо бы помнить, что дети, помимо изначально радостного восприятия мира, обладают жестокостью, они тираничны и эгоистичны. Они разрушители. Оставь их без взрослого пригляда или воспитания – и ты увидишь в них зверя пуще всякого зверя. Похоже, человеку начинает надоедать ломать в себе эту самую зверскую природу.

Я выпиваю рюмку, Мясников, первую, заметь, – и сразу обращаюсь к тебе. Ты выходишь на крыльцо, со страхом и надеждой вглядываешься в черту поднебесного пространства. Сегодня, завтра или послезавтра выпадет снег. Не будет этой черноты перед глазами, но безнадежная белая пустыня похоронит последние ожидания. Почему-то зимой заканчивается всё. И какой идиот придумал новый год зимой? Какие такие новости в этом ледяном безмолвии! А может, наоборот, он слишком умён, этот хитрец-придумщик? Когда истекает срок последним свершениям и надеждам, он взывает к уставшему, изнурённому человечеству: посмотрите на календарь! Всё только начинается!.. Мы черпаем оптимизм из обмана.

Ты, верно, сидишь над романом о любви. Сколько ж можно почерпнуть из одной мимолётной встречи! Да сколько угодно! А можно пойти путём твоего земляка поэта Ивана Овчинникова, написавшего самую короткую из известных миру поэму:

«Светает. Люська, уходи!».

Интересно всё-таки, насколько ты вжился во всё, что окружает тебя нынче в Абрашино? А то ведь останешься навсегда орхидеей, воткнутой посреди грядки с огурцами. Полусон-полуявь. Будто бы я смотрю на тебя сквозь банку с мутным рассолом из-под тех самых огурчиков. Твои огромные очки расплываются, обтекая лицо, и ты становишься похожим на инопланетянина из киношки про неземные чудеса.

Все мы держимся тем, что придумываем сюжеты. Только свой собственный, по которому могла бы последовать жизнь, мы придумать не в силах. Что за умы-

сел такой? Я догадываюсь, в чём дело, только пока ещё не обрёл окончательной уверенности. А догадка такова. В наши сюжеты всегда встроена женщина, и её поступки, движения легко направлять только в том случае, когда ты сам придумал её, нашёл ей спутника или нескольких... Женщина из твоей реальной жизни обязательно ускользнёт из-под твоей власти, она будет пытаться управлять тобой, и ты уже никогда не сможешь развернуть ситуацию. В лучшем случае – сможешь только сломать.

Я могу подарить тебе сюжет, хоть несколько, не жалко. Только женщин в них ты встраивай сам.

Письмо двадцатое

Ах, Мясников, Мясников! Неделя до моего странного дня рождения. 60! Ничего не понимаю, и с каждым новым днём всё меньше и меньше. Скоро падёт первый снег, скоро отсчёт времени изменится на обратный. Только само время не обернётся вспять, что для этой ненормальной жизни было бы вполне нормально.

Твоё место занято объектом (субъектом?), для которого оно и готовилось. Ты – всего лишь квартирант. Не отчаивайся, это положение многих. Истинные хозяева – работники, занявшие твои места, мужья твоих девушек, жильцы твоего дома, проданного по недомыслию или по беде, все, кто ступил на твой след после тебя. Не разводи руками ты, мелкая кусачка! Мне снится, будто ты пишешь большое полотно маслом. Вот отчего бы, скажи? Ты даже свои маленькие графические рисунки, – иные из них, надо отметить, довольно злобные, – забросил. Пока не снится, что ты засел за роман, наверно, и это скоро увижу. Считается, что в сны приходит то, о чём ты постоянно думаешь. Как бы не так! Думал бы я о твоих полотнах и романах! А злобный роман написать труднее, чем злобный рассказ? Кстати, ты ещё не расстался с замыслом пострелять в своих соседей? А наложницу из местных не завёл? Я увижу её во сне и приеду, чтобы сравнить с настоящей. Не собираешься никого приводить в дом? Так я тебе и поверил! Да, семени в своей прошлой жизни ты поистратил немало... Однако отвернуться от мира можно лишь уйдя из него. Ты же не собираешься уходить?

В эту минуту я подыхаю от зависти к тебе, я хочу в Абрашино. Впрочем, это – зависть туриста, любимое место которого посетили без него. Заповедные уголки, они никогда не будут твоими. Наверно, жизнь надо любить, понимая, что ты в ней всё тот же турист, и необычайно краток миг твоего пребывания в ней.

И всё-таки в твоём Абрашино солнце всегда выходит из-за сосен... Вот пишу – а тебя вовсе и нет на месте, и след простыл. Ты ведь тоже турист. Хотя... Турист – на самом деле – это великий посиделец, он привязан к одному месту и выскакивает к другим лишь набегам. Иллюзия простора, иллюзия движения...

Сорока на хвосте принесла – мол, ты, Мясников, сходишь с ума. Я этого ожидал и боялся. Высидеть в твоём заточении, в твоём диком углу при твоём ужасе в восприятии жизни можно только одно – безумие. Расскажи, что видишь ты

в минуты помрачения рассудка, интересно. А я расскажу о своём. От нормальных тошнит, и вот, слава Создателю, я в тебе не ошибся! Но ты слишком резко не уходи в свой новый мир, мне надо будет привыкнуть к тому, что писать тебе уже больше не смогу. Или найду другого адресата, или сам доберусь до твоего мира. Не надо строить межпланетных кораблей, никуда не надо улетать, иной мир можно творить в привычном, обжитом месте.

Я пропустил момент, когда солнце выползает из-за крыши дома напротив. Момент – и не вернуть светило назад. Краткий миг, называемый жизнью, состоит из нескольких обязательных, в строгой последовательности чередуемых событий. Вот – солнце взошло.

Прощай, Мясников! До встречи в лучшем из миров – парке безумия!

Postskriptum

Как-то незаметно умерли все. Может, когда-нибудь из рождённых вновь что-то получится. Но пока что живые в большинстве своём не представляют для меня интереса.

Часто снятся алые тюльпаны на городской площади, целое море тюльпанов.

Вероятно, есть какая-то необходимость в том, чтобы поместить художника в этакое безжизненное пространство, чтобы он, не отвлекаемый миром, максимально раскрылся, чтобы выдал из себя не только раба, но и вольную суть, если таковая имелась... Нет жизни – придумай, нет движения – сотвори.

Живём в неведении, стяжание Духа Святого – задача трудновыполнимая и – опять же – редко кому понятная.

Иные рвутся, может, сами того не ведая, в Адамы – постигнуть мир, начиная с греховного соблазна. Быть изгнанным за это из рая и родить своего Каина. Бедные преадамиты (люди до Адама) ведать не ведали, что из них выйдет такой прародитель сегодняшнего человечества.

Поле и погост, лес, река и пожарище... А пожарище-то почему? Место, с которого изгнан человек, где умерло всё живое... Всё надо начинать заново.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Письмо первое

Здравствуй, Мясников! Годы прошли от времени, когда было написано моё последнее письмо к тебе. Помнится, я сообщал тогда, что как-то незаметно умерли все. Я ошибался! Тогда ушли ещё не все. Но боюсь и нынче ошибиться, заявив: вот теперь умерли действительно все. Кто-нибудь нужный когда-то и потом забытый обязательно обнаружится в самом неожиданном месте.

Я тогда простился с тобой до встречи в лучшем из миров – парке безумия. И что же? Безумие день ото дня расширяет свои владения, а мы так и не встретились. Очевидно, ещё не время.

И мои последние слова в той переписке: всё надо начинать заново... Что я

имел в виду, не знаешь? Я забыл, честное слово! Память давно уже подводить стала. В кабинете у доктора я не мог вспомнить номер моего домашнего телефона. Вот кто бы навёл на мысль, натолкнул, так нет же! Начинать всё заново... Всё заново... Что заново? Вообще всё?!

Сегодня, кстати, День отца. Поздравляю! Не знаю, как умирают, но ощущение, будто я этим как раз и занимаюсь. У Башунова (раннего) есть строчка: «И кто-то окликнет: Володя! Мне имя приснилось твоё!». Божественное живёт в строке... Любимый поэт – Володя, любимый друг – Володя, да и сам я – Владимирович... По утрам первое, что встаёт перед глазами, – мёртвый строй. Вчера похоронили Толю Соколова, замечательного поэта из Новосибирска, нашего ровесника. Да ты же его прекрасно знал! Вчера же было какое-то идиотское писательское собрание, на котором я, как тот аксакал, вынужден был заглушить всю шоблу напоминанием о величии, стоящем за нашими спинами, убегающем от нашего несовершенного зрения. Меня потрясла не сила моего убеждения, а старость, проклятый отеческий опыт, когда ты вынужден признать, что ты всё ещё похотлив, как юный заяц, и немогущ, как старый пень. И уже совсем не важно, слышит тебя кто или нет. Что-то не дождался я твоих новых рассказов??? Что ж, почитаем из старого.

«Я хотел вам сказать:

– Послушайте...

Но они замотали меня в одеяло, посадили в фанерный ящик и на санках поволокли в детский сад. И в других углах ящика тоже сидели какие-то обмотанные дети.

Я хотел им сказать:

– Послушайте...

Но они напихали мне полный рот манной каши, всучили портфель и букет и отвели в школу. Там мы сидели, целый класс, с полными ртами каши и боялись учительницу.

А она сидела в цветах.

Я хотел им сказать:

– Послушайте...

Но они уже успели проголосовать за моё исключение. Они так много принимали и принимали к себе в комсомол, что никак не могли поверить, что я ещё не вступил, и поэтому меня исключить нельзя. А потом меня снова ругали – за то, что я тогда не сознался, и они меня исключили зря.

Я хотел им сказать:

– Послушайте...

Но они уже выложили деньги за все эти георгиевские кресты, которые я делал из бабушкиных мельхиоровых ложек. Ведь у меня никогда не было денег, чтобы купить что-нибудь для коллекции. И они сказали, что купят ещё, если я достану что-нибудь похожее. И как-то так получилось, как будто я их обманул.

Я хотел ей сказать:

– Послушай...

Но она стала плакать и говорить, что у него такой маленький, и что всё было плохо, и что всё это не надо было начинать. И мне тоже так стало плохо, что я

забыл спросить, насколько мой больше. Ведь если б я это знал, во мне было бы больше уверенности.

Я хотел им сказать:

– Послушайте...

Но они уже обшмонали карманы, отобрали пиджак и штаны и сняли с меня очки.

– Нарушитель, распишитесь здесь.

И я начал расписываться у него на рукаве, потому что без очков я ничего не вижу. Из-за этого меня на следующий день не отпустили, а всех остальных отпустили домой.

Я же знаю, что я ничего не нарушал. Просто они ошиблись. Но если я буду спорить, то они потеряют мой паспорт и отправят меня в бомжатник.

Я хотел им сказать:

– Послушайте...

Но главный ревизор уставился на меня своими выпуклыми глазами и начал кричать, что все смелые, когда воруют. А как отвечать, так в кусты. И что здесь и украсть-то нечего, а ведь, надо же, ухитрился, украл.

И все остальные меня тоже разглядывали.

А ведь знают, что я не крал. Что это Семёныч. И директор знает, что Семёныч ворует. Но с Семёнычем он – Вася-Вася.

Так мне, сука, обидно стало...

Я хочу им сказать:

– Послушайте...

Но они склоняются надо мной и по очереди целуют меня в лоб. Чья-то слеза падает мне на щеку.

Кто-то говорит:

– Заколачивай.

И кто-то начинает забивать гвозди.

Но зачем? Я ведь помню, я уже ездил в ящике. Зачем начинать всё сначала?».

Это, брат, целая повесть. Или даже роман. Вы, новосибирцы, мастера сочинять самые короткие произведения. Сдаётся мне, я уже упоминал о самой короткой поэме вашего Ивана Овчинникова. Ох этот Ваня! Он всю жизнь проработал дворником, пропел в русском народном хоре и насочинял стихов от вольного, как на душу легло, а вовсе не как положено. Однажды он, доедая суп, выставленный ему сердобольным литературным мэтром, Ваниным наставником, спросил того:

– А чего вы такие плохие стихи пишете?

– Ну, Ваня, – деликатно ответствовал мэтр, – кто-то пишет лучше, кто хуже, тут, понимаешь, дело вкуса.

Ваня облизнул ложку и посоветовал дружески:

– А вы пойдите на балкон и повесьтесь...

А я всё не могу забыть эту абрашинскую истолканную дорогу, этот тракт, этот шлях, пыль которого сделала все заборы вдоль него серо-бархатными. И

эту жалкую, каким-то странным образом сведённую в масштаб, не соответствующий окружению, – фигурку, где более всего различимы – тоже ведь странно! – того же пыльного цвета волосы и огромные очки. Это ты, Мясников. А я тогда ещё и не знал, что это ты.

Да, чуть не забыл. Ты бы поосторожней с такими текстами, накличешь.

И ещё. Я начал новый счёт письмам к тебе. У меня сохранились прежние, и я мог бы продолжить исчисление в прежнем порядке, но... Так много всего случилось за это время, наверно, столько же, сколько не случилось. Всё связано в антонимические пары, не так ли?

Письмо второе

Удостоверился: Абрашино стоит на месте. После того, как мы перестали общаться, там появился ещё один дачник из твоего окружения – новосибирский поэт, редактор отдела поэзии журнала «Сибирские огни» Слава Михайлов, по документам – Станислав. Ты подумал: вот творческий довесок к вашей компании супротив денежных мешков, наводняющих деревню. Увы, дорогой мой Мясников, вам их не превзойти – ни числом, ни масштабами застройки и освоения. Зато тебе досталась новая голова со стихами и умением сидеть напротив за хлебным вином. Тебя же не смутит, что начальником у Славы Берязев, твой сосед напротив, главный редактор того самого журнала. И действительно, что тебе от того – твои рассказы Берязев публикует с удовольствием, правда, рассказов от тебя давненько уже не было. А ещё он борется с пьянством, со славным в особенности. Да и пусть себе борется, до твоего-то ему дела нет.

Данила Меньшиков совсем перестал к тебе заходить, у него своя грусть, свои проблемы. Что-то у них не так с женой Ириной. Вспоминаю наш первый вечер, когда вы наловили рыбы к моему приезду, здоровенных окуней и судаков. И вот сидим мы все за большим столом у Данилы во дворе, чуть в стороне коптится рыба, дымок уходит вверх, указывая на завтрашнюю ясную погоду. Пьём вино из больших в оплётке бутылей и поём песни. Я замолкаю, прислушиваясь к Иринуному голосу – волшебство! И лучше б вообще не было того вечера, тех дымов и песен, потому что узнаёшь о размолвке красивых и талантливых и понимаешь: вот так рушится целый мир.

Год, два тому?.. Приехал я на свой день рождения к Берязеву. Из Новосибирска махнули прямым ходом в Абрашино. Давно появилась у меня такая привычка – убегать в свой день рождения куда подальше. День рождения... Глупейший праздник, особенно в нашем возрасте. Живёшь – стало быть, отмечаешь день рождения ежедневно. Красивая Обь, паром, дорога через лес, потом последние в сезоне грибы, баня. И так три дня подряд. Немного водки, много разговоров... Зашёл Данила, выпил с нами, ругнул Берязева за то, что у него жильё являет собой редкое чудо домостроения – ни одного прямого угла ни снаружи, ни внутри.

– Башку сносит! – пожаловался он.

Ушёл, а мы с Берязевым стали анализировать ситуацию вокруг Данилы. Лет пятнадцать, а то и поболее назад мы точно так же ярились из-за ушедшего ин-

тереса к книгам, к нам, писателям, по поводу свалившегося на нас со страшной силой безденежья. Время прошло, мы попривыкли, стали спокойнее относиться к окружающему миру, понимая, что его не исправишь, исправить можно только себя. Много чего пришлось понять, осознать в эти сроки. И вот, спустя годы, пришло время художников. Даже таких талантливых и продаваемых, как Данила. Догадываешься, Мясников, куда я клоню? Правильно, умница, тебя же, выходит, дважды убили, поскольку ты есть у нас и писатель, и художник. Выветрился покупатель, вымыло его вместе с так называемым средним классом. Зачем живопись или оригинальная графика, когда на стену пойдёт классно исполненный постер! Это новая отечественная буржуазия, она никогда не станет двигателем искусства, это вам не морозовы, цветаевы и третьяковы! Всё тут предельно ясно, только жаль, что кому-то до сих пор приходится делать новые мрачные открытия в похоронной атмосфере искусства. Кто бы почитал сценарий «Калины красной», которую поставили в театре имени Шукшина в Барнауле по сочинению двух залётных евреев-юмористов, сложивших шибко юморные стихи про то, как Егор Прокудин дурака валяет, как убивают Куделиху, его мать, чего у Шукшина отродясь и в помыслах не было! Вольняшки, блин!.. А ты, подумал я тогда, Данила, не печалься! С голоду не помрём, писать не разучимся. Пусть это давно уже никому не надо, но ЭТО надо нам!

А потом мы плыли на пароме обратно и ехали от него уже не так торопливо, поскольку торопиться и опаздывать было некуда. Обратная дорога всегда грустна. Вот и листва за три дня заметно поредела, и похолодало, и небо посуровело... И я стал старше. Или теперь уже так – старее? Этого не хочется никому, и никому этого не избежать.

Вечером в новосибирской квартире Берязева мы напились мадерой. Напились на этот раз по-настоящему. И рухнули, как настоящие солдаты – лицом на запад. Берязев уснул под стихи московского поэта Али Кудряшовой, которые я читал ему вслух, а я – под книгу стихотворений самого Берязева.

После бала... У тёзки твоего Коли Шипилова так называлась песня. Обычная история: вслед за праздником ощущение потери. Многие, боясь этого, избегают праздников вообще. Что ж, наверно, можно избегать любви, чтобы не испытывать потом разочарований. А тут – всего лишь после дня рождения...

Я возвращаюсь в Барнаул. Берязев посадил меня на автобус, как это уже бывало не единожды, в самую последнюю минуту. Мы старыми становимся, для нас последняя минута – это тоже бесценное время. Еду и почему-то распирает от нетерпения скорее убедиться, что автобус движется по трассе М-52, которая потом переходит в Чуйский тракт, любимую мою дорогу. Да и Берязева, думаю, тоже. Ну, где же, где же тот столб, та растяжка, где обозначен титул трассы? Кто бы знал, почему мне это так важно именно сейчас, в эти первые минуты отъезда из сибирской столицы? Ведь знаю же, всё равно автобус рано или поздно вырвет на эту самую трассу...

Нетерпенье гонит,

Несмиренье жжёт...

Ах, Башунов, Башунов! Это он мне написал, про меня... А я каждый день восклицаю, страдая от отсутствия его: «Володя! Мне имя приснилось твоё!..».

И все мы с той стороны, – кто ближе, кто дальше, – со стороны Чуйского тракта. И только Берязев – с этой, со стороны Новосибирска, но душа его полутюркская всё время стремится туда, в нашу сторону и дальше, к Алтайским горам, монгольским степям и пескам Гоби...

А вот и синий квадратик на столбе – М-52, Бердск, Барнаул. Потом уже на более крупных постерах будут обозначены Бийск, Ташанта – конечный пункт тракта, но первый – этот... Всё, душа моя утихомирилась, будто бы сразу, через восемь сотен вёрст я попал на границу с Монголией. Вот ещё чуть-чуть – и дальше наш автобус покатит по бескрайним монгольским степям. Никогда не понять самого себя, что может с такой силой тянуть равнинного русского человека в эти суровые безлюдные края, где глазу не за что зацепиться!

Я так и не отгадал своего нетерпения. Город Барнаул, куда я направляюсь, мой родной город, там прошла вся моя жизнь от края и до края, там остались одни разочарования. Там закончилась любовь... Да что это я в самом-то деле! Всего лишь настроение, брат, любовь закончиться не может!

А вот совсем забыл! С этого и надо было начать новую переписку с тобой после столь долгого перерыва. Всё дело в том, что донеслось до меня от тех самых людей, которые слухи распускают, будто ты в здравом уме, и никакого сумасшествия с тобой не случилось. Я подозревал это, однако поверил тогда и писать тебе перестал. Что толку писать сумасшедшему?

Письмо третье

Мясников, мы уже выяснили, что большой разницы в погоде между твоим Абрашино и моим Барнаулом нет. Хотя ты и находишься севернее на сто пятьдесят вёрст. Сто пятьдесят – это не в счёт, стало быть, у вас там такие же дожди и туманы. Твой огород зарастает травой, а вот в лесу пусто – ни грибов, ни ягод. Право слово, странное лето. Из наших планов не вырастает ничего заметного, но я всё оглядываюсь по сторонам – а вдруг! Собирался приехать из Питера мой друг художник Георгий, я тебе, помнится, рассказывал о нём. Как и о том, что мне всю жизнь не даёт покоя наш непостроенный дом на берегу крохотного озера, в скалах. Я ненавижу этот дом, которого нет и никогда уже не будет, я ненавижу мысли о нём, потому что они напоминают мне о несбыточности самого важного. Может, мы и не догадываемся, что же такое не сбылось, но мы подспудно знаем: это и есть главное в нашей жизни, и потому никак не научимся по-настоящему любить себя. Как же любить – без главного! И я проживаю в этом нашем доме свою придуманную жизнь, я беседую по вечерам с Георгием, вернувшимся с этюдов. А он молча протягивает мне листок, очередное письмо. Он не умеет говорить, он пишет. Да, вот представь себе, Коля, письмо в письме. «...Мне тоже не даёт покоя мысль о домике на Моховом озере. В пустых хлопотах, в житейской суете не исполнил заветного. Поезд ушёл, я остался на полустанке удивлённым, со своими болячками, когда не то что строить, себя с трудом перетаскиваю. Как-то быстро и незаметно утёк песок из моих часов... Привёз из города папку с рисунками Колывани, Коргона, есть хороший дворик Шишовых. Этюды, кроки... Надо собраться, сосредоточиться и начать делать

этапные вещи. Перечитываю «Войну и мир», да, это не Мураками... Взрослые ушли по делам, дети дома расшалились. На девятое мая собрал у себя старых товарищей – Ивана Корнеева, Игоря Нахимова, давно хотел тебя с ними познакомиться. Замечательно посидели, вспомнили отца, выложил его боевые награды – орден Красной Звезды, медали «За взятие Кенигсберга», «За оборону Ленинграда»... Детям хотел отдать – не надо. А тут впереди третья операция, и, ты знаешь, изматывающая боль призывает к каким-то новым откровениям, даже к нежности. Когда мне особенно хреново, вспоминаю, как мы возвращались с рыбалки, и слова летели впереди тебя. Слов самих не помню, но они, будто крылья, несли нас, и дорога в гору казалась спуском... Жизнь продолжается. Дети живут в своём измерении, мы – отдельно. Где-то грань между существовавшим и существующим. Пиши мне на адрес: СПб, Васильевский остров... Клепиковой Ирине».

Ты, Мясников, конечно же, понял, что письмо я достал из почтового ящика, за тысячи вёрст от Питера и за сотни – от Кольвани. А в конце следующих писем было: пиши мне на адрес: СПб, Петроградская сторона... Пичугиной Валентине, потом: Выборгская... Елене...

Любил он всю жизнь одну женщину, и звали её Ольга.

Зачем я тебе всё это пишу? Кто бы знал, зачем я вообще пишу тебе. Тем более, что ни одного письма от тебя я не получал и не ждал. А всё тот же домик! Твоя покосившаяся изба с вросшими в землю окнами далека от нашей мечты о жилище на берегу горного озера, и всё-таки... Обошёл ты меня здесь. Твое абрашинское имение – это единственное жильё, на которое никто – ни дети, ни жёны – не сможет претендовать. Твой побег удался. А мне всё это предстоит, только нет избёнки, нет Абрашино, денег нет!

Странное лето – из пустот и восторгов. Разглядывая горы, можно увидеть силуэты всадников, фигуры людей и зверей. И в облаках можно увидеть то же самое. Облака лежат на горах, горы подпирают облака. Там не изображения людей, там люди, потерявшие интерес друг к другу.

Седьмое число седьмого месяца седьмого года. Один день. Катунь, горы, облака. Лето. Уходящая натура. Ясные вещи приобретают в изложении людей запутанную суть. По-моему, Рене Декарт сказал однажды: «Определите точное значение слов – и вы избавите человечество от половины его заблуждений».

Я в замешательстве: написать правду, из которой следует, что наш непостроенный домик со всей прилегающей таёжной территорией попал в неприкасаемую экскурсионную зону, или насочинять, построить всё-таки жилище и поместить туда того же художника Алексеева, тебя, Мясников, и всяких разных героев моих повестей? Живых соединить с придуманными. И пускай себе поговорят. Что выбираешь, а, Коля-Николай? Имей в виду, в отличие от вас, мои герои не умеют мне ответить. Да и не мои они, кто сказал?

Письмо четвёртое

Отходит пора огурцов, подходит пора томатов. Всякие кабачки, перцы, патиссоны второстепенны по сравнению с помидорами и огурцами, эти главные

в ряду заготовок на зиму. Вижу, как, опохмелившись, – с вечера осталась треть бутылки после посещения поэта Михайлова, – ты шарить по сенцам в поисках трёхлитровых банок для засолки. И вдруг в дальнем углу с ужасом обнаруживаешь целую полку с прошлогодними соленьями. И тобой овладевает вечное сомнение домовитых хозяек: оставить – выбросить? Выбрасывай, Коля, без сожаления, иначе эти остатки перейдут в разряд праостатков и сделаются ещё одним символом нашего старения, нашей, если хочешь, залежалости. Как старые вещи в пыльном шкафу, давно забывшие запах тела.

А я ведь тоже делаю заготовки на зиму, ты, наверно, и предположить этого не мог. Делюсь опытом, недавно научила одна милая дама. Всем надоели консервированные овощи, которые по сути есть овощной компот, и люди с умилением вспоминают огурчики-помидорчики бочкового посола. Накладываешь в банку помидоры, хрен, чеснок, перец, соль, немного сахара и заливаешь обыкновенной водой. Под капроновую крышку – и в погреб! Никакого кипячения, никакой стерилизации, и вкус бочковых помидорчиков гарантирован!

Да, совсем забыл, я ведь ещё не писал тебе, что служу на новом месте. Редактирую исходящие документы. Я в них ни черта не понимаю, и это забавляет. Мой хозяин хамло, мешок с деньгами, до прихода нового русского капитализма был капитаном дорожно-постовой службы, гаишник по-простому. Думаю, первоначальный капитал он сколотил на дороге, обирая несчастных водителей. Теперь он сволочь в более крупном масштабе, зато дружит с попами. Это же куда проще – завести дружбу со священниками, чем по-христиански относиться к ближним своим. Связь со слугами господними освобождает от чувства вины.

Собственность. Новое мерило жизни. Станным образом люди думают о продолжении себя: огородить побольше земли, подготовить наследство... За непомерными хлопотами сами дети во дни, когда особенно необходимо родительское внимание, остаются забытыми этими самыми родителями. И наследство, прирастая, оскудевает, теряет цену, сводится к деревяшкам, квадратным метрам, деньгам. И забывается напрочь: человек может обладать куда большим.

Иногда страх выпасть из окна сродни восторгу предстоящего полёта. А может, это свойство восторга – быть замешанным на страхе?

А ты кричишь через три забора такому же пьяному соседу, который даже оглушённый водкой не решился рубить голову петуху. Экие нежности для деревенского мужика! Охота – другое дело...

– Ты что ж, гад, застрелил петуха у курей на виду? Теперь они разбегутся кто куда.

После Абрашино хочется расслабиться и в то же время взяться за работу. Наверно, расслабляться и работать – неразделимые составляющие творчества.

Старый товарищ зовёт в Великий Новгород. Как-то сдуру написал ему, что мечтаю побывать там. Зачем? Фата-моргана! Потому что не окунался в ту жизнь, потому что здешняя опостылела. Жду перемен, именно жду, а не ожидаю. На мой взгляд, разница есть. И не могу ответить, зачем они мне, эти перемены? Мне же хорошо, по-настоящему хорошо, только я этого не подозреваю в силу постоянного человеческого неудовольствия. Если смотреть вдоль русла Лосихи (лучше всего зайти в воду на середину речки), появляется некая мысль о

течении тебя самого в этом нешироком водном пространстве. Представить, как ты будешь течь посредине Оби, невозможно, там не встанешь.

Перед сном читать тебя, Мясников не стоит, читаю, чтобы не уснуть.

«Если уж думать о государственном устройстве, то хорошо бы сначала отделить всё от всего, чтобы потом долго и с любовью присоединять. И что-нибудь обязательно поменять местами. Обязательно отменить что-нибудь самое привычное – для воспитания чувства новизны...

Плохо, что я забросил государственные дела.

УКАЗ!

Об отделении совести от государства.

Руководствуясь заботой о государственном строительстве и исторически сложившимися традициями, постановляю:

Отделить совесть от государства Я, как понятие внесударственное, принадлежащее жизни индивида и противоречащее обычной государственной практике.

Такого вот числа.

Такого вот месяца. Я!

УКАЗ!

Об отделении страха от государства.

Выполняя государственные функции и утратив в связи с этим некоторые человеческие качества, считаю необходимым закрепить это законодательным актом.

Постановляю:

И так далее».

По поводу тобой, Мясников, написанного, а мной прочитанного могу ко всеобщему удивлению свидетельствовать лишь одно: сие сотворено в трезвом состоянии.

Кланяюсь и преклоняюсь, ты неповторим!

Письмо пятое

Утро. Я иду по проезжей части Абрашино, идти больше негде, поскольку вся улица за исключением зарослей крапивы у заборов – это и есть проезжая часть. Год от года всё больше народу наезжает сюда отдыхать, всё больше машин, поднимающих отвратительную жёлтую пыль. Всё больше лесовозов, что, возможно, говорит о некоем подъёме экономики в нашей стране вечного эксперимента. А тут ещё дорогу где-то в районе Хмелевки ремонтируют, здоровенные грузовики со щебёнкой, добавляющие пыли на твою усадьбу и домишко, стоящий край дороги. Так говорила моя бабушка – край дороги. Неправильно? А мне нравится. Утро совсем раннее, потому машин ещё нет, и я спокойно бреду к маленькому дощатому пирсу, хочу посидеть с удочкой. Знаю, ты давно забросил эти глупости и ловишь рыбу сетями, но мне рыба не нужна. В прошлом году я ходил на этот пирс с твоим соседом Берязевым, и он утопил телефон, пытаюсь помочь мне вытянуть здоровенного окуня.

Ты опять не будешь знать, что я в Абрашино. А кто бы сказал? Ты сидишь в своей усадьбе безвылазно, занимаясь огородом, заготовками и обедая самогонкой. Потом ужинаешь ей же. И что тебе за дело до происходящего за воротами! А для полноты комфорта у тебя есть мысль, которая не отступает ни на минуту, которая согревает и заставляет жить. Мысль эта о романе, ты его напишешь, вот только закончится огород и придут холода...

Сердце скучает по тем местам, где ты ещё не был. А память кружит возле дат, помечая каждый день чем-то знаковым. И не важно, можешь ли ты сразу вспомнить – чем?

Ты же знаешь, у меня своя деревня, она в трёхстах километрах от Абрашино. Осенний отсчёт начался, хотя большая поляна за деревней всё ещё зелена. Ещё гремит хор кузнециков, но утренние росы уже пахнут морозом, и небо уже голубое не настолько. Ах, моя мелкая речка! Она бежит по-прежнему в задумчивости, и в думах её нет места мне, мгновенному пришельцу в этот мир. Моя спящая поляна! Она спит в тревожном ожидании пришествия человека. Она точно знает, что через десять лет он придёт сюда и построит большой коттеджный посёлок, и будет здесь всё как в городе.

Вот интересно, как ты пришёл к мысли, что людей наблюдать совсем не интересно. Люди сложены, составлены, смонтированы, слеплены из матриц, и набор этих матриц невелик. Они укладываются в легко запоминаемый каталог. В мозгу выстраивается некий стеллажик с полочками, где расставлены типажи. Можно их пронумеровать, можно присвоить условные обозначения.

Это твои мысли после очередного выхода из пьянства. Дальше ты думать об этом не стал, поскольку, выйдя из запоя, ты тут же пускаешься пьянствовать вновь. Забавное плавание.

Извилистая речка, горбатый мостик, по нему бредут печальные коровы, а под ним рыскают собаки, похожие на шакалов. По воде разносится густой мат – девушки купаются. В матюги вплелось лениво-бесстрастное:

– Мама, она же плавать не умеет...

Нынешний суп окружающей жизни остёр, замешан на несочетаемых продуктах и оттого, очевидно, невкусен.

Ты даёшь себе слово начать работать немедленно, не дожидаясь смены сезона, распущенность перешла уже все пределы. Но как трудно двинуться с места! Удивительная инерция у состояния покоя, сильнее не бывает.

Прошло по улице печально поредевшее стадо. Можно считать, сколько дачников заменило местных жителей, сколько коттеджей вместо изб, джипов вместо повозок... Можно спрятать руку за спину, ибо на одной хватит пальцев сосчитать: одна корова, две, три...

За Сузуном на большом поле убирают хлеб. Шеренгой идут комбайны, снуют между ними машины, краем поля тянет воз соломы мощный «К-700». Сердце заходится от радости: хлеб убирают, весело! Вот так и налаживается жизнь! Запомни эту картину, Мясников, пусть она встаёт перед тобой в минуты уныния. Поживём ещё до итогов, поживём...

Умираю от зависти: Слободчиков едет в Абрашино! Будет ходить по берегу моей реки, собирать мои опята, увидит мою лису и моё мраморное озеро. Будет

париться в моей бане, топить мою печь, спать в моей постели, пить самогон с моим Мясниковым... Что с того, если было это всё моим лишь миг, никем не узаконено, не затверждено! Всё на Земле наше на миг, не более. И вот в этот самый миг кто-то там есть, а меня нет.

Меня нет сегодня в моей деревне, где нынче снесут старый дом. Без меня. Куча мусора, вот и вся память.

Осень невероятно жестока. Морозы по утрам добивают зелень, делают землю какой-то злобно-ощетинившейся. Знаю, она потом, в ожидании снега, подбредет, притихнет... Рано быть холодам. Сердце болит, ему тоже не хочется мёрзнуть, не хочется биться под множеством покровов. И надо как-то выскользнуть из лап осени, доказать всем, что ты здоров, удачлив и весел. Кто-то строит для этого большие дома, кто-то маленькие, кого на сколько хватит. Но забота общая – чтобы было в доме тепло.

Сегодня четверг, и ощущение, будто пятницы уже не будет, вообще не будет, совсем. Четверг продлится до бесконечности, вот и всё. И можно будет сказать: конец света наступил в четверг. Ни года, ни числа. А то и так: бесконечность света наступила в четверг...

Ты, Мясников, не пускаешь людей в свой мир, даже в мир вообще. Нечего делать, они, на твой взгляд, слишком много уже в нём напояли. Это не мизантропия, это самозащита такая, беспомощность перед лютым человечеством, перед беспощадной человечностью, перед всепожирающей любовью, перед повсеместной и непобедимой зоологией. Пускай среди некошенной травы женский хор исполняет Моцарта, пускай Вольфганг Амадей выйдет и поклонится лету, лесу, бывшему огороду. Но больше людей не надо. Вот оно, всё допустимое человечество – хор, исполняющий реквием. Реквием по всем остальным, по всем, кто не верит в судьбу, а верит лишь в случай...

Письмо шестое

Что-то происходит, какие-то движения в маленьком замкнутом пространстве, в которое волей случая вписан я. И всё – взамен чего-то важного, книг, листочка бумаги, прочих милых и нужных вещей. «Я могу дышать даже в валенке», есть такой рассказ у Володи Карпова. А я вот не могу дышать даже в таком пространстве, как город Барнаул. Тебе, Мясников, не хватает воздуха на всей Западно-Сибирской низменности. Знаю наперёд твою шуточку, оттого что она неизменная. Тесно, душно... Хочу написать придуманную от слова до слова историю, которая окажется настоящей жизнью, в которой всё будет фантастичней придуманного, в которой моя униженная, вечно унижаемая страна встанет гордой и счастливой. Ощущение, будто правда запрятана глубоко и никак не хочет выбраться на поверхность. Продолжаю жить в своём романе, который закончил уже год назад. Мне было в нём удобно, комфортно, потому и выбираться наружу не хочется. Мысленно продлеваю каждую главу, жалея, что ничего похожего уже не напишу. Да и надо ли?

Не вернуть милого безделья, добродушного прозябания, святого созерцания мира.

Уже нет слёз по ней, обрекшей меня на одиночество, осталось необъяснимое щемящее чувство. Семена бархатцев, посаженных ей под моим окном, прорастают до сих пор.

А ты пишешь.

«Мне с детства здесь всё запрещают, и всё для меня здесь чужое. У меня чужая жена, у неё чужие дети. У меня чужие родители. У них тоже чужие дети.

В чужой реке плавает чужая рыба, и если я её поймаю, меня остановит рыбнадзор. В чужих квартирах чужие книги в совершенно чужих шкафах. У меня из-под ног уплывает очень большая планета, и она никогда ко мне не вернётся.

Может быть, поэтому мне хочется быть самым маленьким, маленьким, маленьким, и ещё меньше, чтобы жить в тёплых водах вашего живота и спать, спать, спать, спать...

И иногда, просыпаясь, высовывать ручку наружу, чтобы потрогать нежные волосики на вашем лобке».

Я не пытаюсь найти ключик, чтобы дать определение строчкам, страничкам и книжкам, написанным Николаем Мясниковым, тобой, Коля. Да и есть ли точное определение всей жизни художника, писателя, философа, мечтателя, вдохновенного любителя любить, если всё это сошлось в одном человеке?

С наступлением холодов люди в общественном транспорте стервенеют. Это наблюдение моей начальницы. Что-то не замечал, чтобы с наступлением тепла они делались добрее. Люди стервенеют не от холода, а оттого, что не могут защитить себя, не могут погрузиться в тепло на всё то время, пока за окном поливают дожди, трещат морозы.

Когда я был рыбой, – а был я, скорее всего, чем-то средним между чебаком и лещом, – я не знал, что на суше есть свои прелести, отличные от водных и даже несколько не хуже. Когда я был деревом, я уже знал, как существовать на земле, под землёй и над землёй. Дерево – та же трава, только та меньше, мягче. Все знают или предполагают, сколько отпущено жизни тому или другому дереву. Про траву неизвестно. Растёт год от года, перевивает, перепутывает свои собственные корни... А сколько ей отпущено жить на этом самом месте? Может, плотность корней на единице площади однажды станет критической, и трава задавит сама себя... Когда я был птицей, я уже знал и воду, и небо, и землю, и лес. Я видел больше и дальше, я чувствовал себя великим, взлетая в зенит, и однажды мне стало жалко этот мир, так широко и беспомощно открытый мне, конечный, наклонённый к горизонту. И я перестал летать в надежде, что моя следующая среда обитания станет сильнее и загадочнее. И я стану жить в бесконечном и таинственном мире... Когда я был камнем, я отделился от горной системы, которая ушла вслед за движущимися людьми. Я уходил под землю, когда взволнованные воды тащили за собой всё, что попадалось на их пути. Я выбирался на поверхность, выталкиваемый неведомыми подземными силами... Во мне жили задолго до того времени, куда в состоянии была заглянуть моя память, следы животных, птиц, трав и прочих растений, воды и неба. В конце концов, я стал землёй, которой придумано множество названий и характеристик – почва, гумус, чернозём, подзол, каштановые, бу-

рые, лесные... Во мне вода, корни, камни, звери, птицы, люди, и только небо надо мной.

Прогноз погоды на 24.09.201...

Переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер западный, умеренный. Температура ночью +3...+5, днём +11...+13. Восход солнца 7.15, заход 19.21. Ожидается слабое падение атмосферного давления, его величина составит 744–742 мм ртутного столба, что ниже нормы. Про мои 55 ни слова.

Всё позади. Рыбалка, больше похожая на обыкновенную пьянку. Случилось неизбежное. Отметили. Дача стоит заброшенная, огород не выкопан. И вдохновение последних дней минувшей недели улетучилось. Его, наверно, нельзя отпускать ни на минуту. С другой стороны, не привяжешь его на цепь, никому не удавалось.

Сижу в медицинском центре. Болеть не хочется. Пьянство – мальчишество... Мой питерский друг потерял силу, вот чего тебе, Коля, позволить нельзя. Когда ты слаб, с тобой готовы разделаться все – петух, мышка и заносчивый сосед. Сильных не трогают, их убивают, но не дёргают по мелочам. Не жалуйся. Разве что на здоровье – но это к доктору.

Меня напихали таблетками и начинили уколами, потому я воспринимаю мир сквозь вату. Она говорит, что со мной плохо. Мне со всеми вами тоже не здорово. Найти бы женщину без особых притязаний, но знаю, что, случись такое, найдётся куча других недостатков.

А жизнь идёт своим чередом. С утра варю варенье. Вишнёвое! Сказка! Чем-то далёким пахнуло, ещё до моего рождения. Запахи, замешанные на истории, тоже история. История рода, который жил в местах, где цвела и вызревала вишня. В Сибири она появилась не так давно и какая-то не совсем настоящая. Времена и дали – вот всё, чем мы живём и дышим. Но ты знаешь ли, Мясников, что это такое – снимать пенку с вишнёвого варенья!? Дом сразу же наполняется призраками, и они бродят по комнатам, разглядывая себя на фотографиях.

Как-то ты сказал: не стоит рвать сердце нелюбовью к себе... Завтра будет солнце. Завтра будет один из тех редких дней, когда золото Горного Алтая засверкает удивительными переливами, когда вода в Катунь станет бирюзовой. Завтра надо быть на Катунь. Надо быть завтра на Катунь. На Катунь надо быть завтра. Держит дом и морковка, а зовёт Катунь. Дело в том, что необходим человек, с которым надо эту радость, этот восторг разделить. В голове у тебя одна Светка, которая сама про себя не знает, гуляющая она, полудевушка-полупарень или ещё кто. Невнятное растение. Впрочем, она многое поняла бы там, на Катунь... А в Абрашино ты её не пускай.

Письмо седьмое

Оставшиеся желтизна и зелень говорят: пока всё ещё живо. Но скоро ранние морозы постараются и убьют все краски, оставив одну серую. И придёт мысль: всё было напрасно. Какое слово – безысходное, отчаянно-безнадёжное – напрасно. Русские слова очень часто из чего-то сложены, а это из чего? Вижу твой

пристальный взгляд из-под очков, слышу предостережение: вот отсюда-то тебе и надо бежать без оглядки! Черти! Крови, силы, души твоей хотят!

А я продолжаю книгу отречений. Помнишь, мы затеяли её ещё в прошлом столетии! Наверно, только родное, кровное нельзя отринуть, его можно загнать в глубины памяти, отказаться от него на миру, но ты повязан родством помимо чьей бы то ни было воли. На сей союз воля божья. Родня не знает, не роднится – что с того! Это происходит на малом земном пространстве, которое ничто для душ, их разговоров или молчания. И кто знает, где и когда они заговорят, освящённые одной кровью... А друзья, соратники, единомышленники... Перетащить «мышкой» к корзине с мусором и нажать указатель «переместить». Всё, нету! Замечательный мой художник из Питера! Я отрекаюсь от тебя, от твоих призывов думать о вечном, от твоих жалоб на детей и болячки, от твоего упоения красотой природы, от твоих сетований на бездушные собратьев. Я отрекаюсь от нашего замечательного прошлого, когда мы восходили на гору Синюху и ничего, кроме омерзения от снятых с себя нескольких сотен клещей, потом не могли вспомнить. Да, был момент величия, когда у твоих ног расстился мир в голубой дымке, но потом были мерзкие насекомые, жара и раздражение. Я отрекаюсь от нашего прошлого, когда мы безвылазно торчали на камнерезном заводе, очарованные красотой камня. Камень надоел, отполированные образцы розданы кому попало, камнерезы разбежались или спились. Кто умер, кто разочарован. От того прошлого осталась пыль невнятных воспоминаний, а у камнерезов пыль в виде силикоза, неизлечимой болезни лёгких. Я отрекаюсь от Всеволожской, где святая грусть со временем покрылась серой дождливой печалью, а потом превратилась в обыкновенную скуку. Я отрекаюсь от юношеских честолюбивых замыслов, поскольку из них не вышел даже домик на берегу лесного озера. В Питере несколько листов ватмана, в Барнауле несколько испитых страниц – всё...

Да что тебе, Мясников, до всего этого, отречённому и отрэкшемуся давным-давно!

Река стала ленивой, ей лениво течь, лениво наполняться водой, по-моему, даже просто быть рекой – лениво. Она, как Мясников посреди пустого огорода, когда уже даже ботва снесена в дальние кучи. На память приходят разные люди, и чем больше гонишь их от себя, тем настойчивее лезут они в голову. А что от тех людей? Оболочки одни, но что-то же им надо от меня на склоне лет. Уйдите! – кричу им. Вы несёте с собой всего лишь прах несбывшихся надежд и желаний, которые со временем становятся орудием самоубийства. Вы ничего, кроме страха, боли, пустоты и запаха тлена не можете оставить после себя! Нет никакого прошлого, придумано множество обманок, чтобы отрицать это «НЕТ» – фотографии, письма, живописные наброски, комоды, столы и табуретки, дети, наконец... Это прошлое только с точки зрения лингвистики. Да, было, строгаи, делали, любили, но смерть шла за всем этим по пятам, и всё тут же превращалось в нечто сокрытое густым туманом. В немецком языке есть глагольная форма – давно прошедшее время, вот здесь что-то близкое к истине. Я сегодня побрился – и это уже plusquamperfekt.

Ты не поверишь, но вот открываю старые записи, читаю. «Сижу в деревне,

впервые за три года что-то пишу. Письма к Мясникову. Ха-ха! Однажды я так и назову книгу – «Письма к Мясникову».

Светает. Сейчас пойду ломать старый сарай, добавлю ещё одну кучу мусора и обрету новую задачу: куда его девать? Это жизнь – сотворить мусор.

Осень торопится убийственными темпами, и в холода мы останемся одни. На самом деле это не страшно. Мне давно не пишет Саша Плетнёв из Омска. Не думаю, что обиделся, скорее всего, он тоже понял, что в старости общение тягостно. Тут – ложь, тут – котурны, тут – костылёк, тут – просьбы о жалости... Не надо! Гордое животное кошка уходит умирать в укромное место.

Был некто Филиппов, делал умное лицо и просвечивал меня взглядом-рентгеном. Говорил что-то о космическом потоке, в который необходимо влиться. Или хотя бы идти (плыть, направляться) с ним попутно. Иначе – болезни. Кто-то, по его словам, к нам всё время приходит, некий дух, сознательное пространство, заполняющее вакуум, появившийся в результате разлома космического потока, возникшего по вине человека... Зачем приходил – я так и не понял. Денег я не предложил, у самого нет. А диагноз поставит доктор.

Письмо восьмое

Связка ключей на столе. Ты разглядываешь её, думая, что ключей становится всё меньше. Но большой костёр, на котором должно сгореть всё лишнее, пока не воспылал. Странное ощущение жизни, не правда ли? Полноты её хватает, чтобы не замечать течения времени. Пустоты в ней достаточно для напрасно проведённых дней. Впрочем, Мясников, мне порой дня не хватает, чтобы выкроить время для разговоров с тобой. А иногда думаю: мы так далеки друг от друга, так разорваны временем, что ты уже истаял как сущность, и я разговариваю сам с собой, пишу сам себе...

Но вижу твою походку завязатого огородника, она у вас, любителей посадок, особенная. Может, от этой специальной обуви, называемой галошами. А я вот мечтаю купить себе спортивные тапочки и лыжи, чтобы заниматься здоровьем. До мечты двести метров, там спортивный магазин.

Осень за окном, а я хочу побывать в Абрашино ещё до зимы, до наступления мёртвого сезона. Надо, надо, надо! Я устал от зависти к тебе...

Тени прошлого преследуют тебя. Людочка... Светлый человек. И чистый. Изломанная жизнью до самой последней крайности, а чистый. Она, умирая, искала тебя, звала из последних сил, придумывала поводы, чтобы увидеть тебя, заставить прийти к ней, сходящей с ума, умирающей от опухоли в мозгу. И всё звонила, звонила...

– Надо обязательно увидеться, я должна отдать тебе фотографию.

Ты так и не отозвался. И не узнал, что там, на этой фотографии. Презираемые тобой её подруги стояли у гроба, а тебя рядом не было. Конечно, у всех гробов не настоишься...

Ты и я. Мы никогда не были мягкими, никогда не были нежными, что поде-лаешь... Вот и томимся до сих пор воспоминаниями о матери. Каждый о своей. И не уходят от взгляда палисадник перед нашим подъездом, диковинные цветы

на подоконниках. К матери постоянно ходили за рассадой, семенами, и все потом разводили руками: не растут!

Отвлекусь. Сегодня сыну исполнилось восемнадцать. Беседую с ним в его отсутствие. Даже и не знаю, как, сын мой, теперь с тобой разговаривать, как вести себя. Я ничего про тебя не знаю. Далёкий Мясников, с которым я и дня толком вместе не побыл, мне ближе. И почему так уродливо всё устроено? Я люблю лёгкие пути, кто их не любит? Вот и получается, дружить с собственным сыном – это страшно трудно. Ты хороший, нежный человек, тебе свойственны некие глубокие чувства, которые могла читать, угадывать твоя мать. Я не могу. Я ленив. Я не умею и не хочу делать из тебя кого-то. Не знаю, что тебе сказать в твой день рождения. Так, откуплюсь мелочами. Но ты знай, я люблю тебя, меня прошибает холодный пот от мысли, что с тобой может что-то случиться. Я горло за тебя порву... Но я не умею сказать, я по-прежнему, как юноша, боюсь нежности. Видишь ли, профессия жить и быть отцом труднее профессии писателя, да и любой другой. Я люблю тебя до дрожи, но ты ведь можешь и не знать этого. Я скажу об этом сегодня за столом, пусть меня не поймут и осудят мою горячность, мне нет до того дела. Вот. Сегодня я наконец знаю, что сказать. Для меня этот день велик. Пускай для сына он будет обычным, важно, чтобы он понял: для меня – велик!

...Всё меньше понимаю, за что же себя можно уважать. И стоит ли вообще заниматься этим? Жизнь вокруг строится на глупости, это иногда попросту завораживает: смотришь – глазам не веришь. Если меня и можно сломать – только из-за детей. Но опять же, зачем я им поломанный?

Состояние живого трупа. Интересно, труп может ощущать себя живым? День рождения сына позади. В норку хочу, к слепому и чуткому кроту.

Я придумую историю, которую будет проживать мой замечательный друг из Питера Георгий Алексеев. Кстати, я сегодня умудрился назвать его Леонидом. Так зовут его отца и младшего сына. Он посередине, между двух Леонидов...

Мир держит паузу между осенью и зимой. Прохладно, солнечно, сухо. Бестолковое, любимое из-за этой своей бестолковости лето прошло, и уже забылись насмешки по поводу предстоящих кальсон и тёплых фуфаек. Теперь осень подсмеивается: вам, дуракам, лета не хватило ни на отдых, ни на работу. Вкальвайте сейчас, не замечая последних улыбок леса и грустной ухмылки реки.

Вот возьму и вместо писем к тебе начну писать в дневник, заведу такую амбарную книгу, где буду отмечать, что и когда выброшено. Сегодня ещё ничего не выбросил, но вот приеду на дачу – обязательно что-нибудь выброшу. И разведу костёр якобы для мусора, на самом же деле брошу в него что-то нужное, из мебели, к примеру.

И правая десница не ведаёт, что творит левая... Решил поставить пластиковые окна – это для тепла, это простительно. Надумал пристроить веранду – для удобства. Накрутил какой-то салат из свёклы – для еды. Повторяю тебя, Мясников, во всех подробностях, в том числе в заготовках припасов на зиму. Стало быть, в амбарной книге необходимо завести страницу приобретений. Это будет чёрная, позорная страница.

Ах, боже мой! Имея счастье жить, надо умудриться с таким неистовством портить себе жизнь!

Письмо девятое

Бывшая жена затащила-таки тебя в больницу. Подозреваю, она выждала момент, когда ты уверовал, будто вся огородная растительность переработана, упакована, рассортирована и разложена. Иначе тебя не отодрать от крыльца. Капуста не посолена, но до настоящих морозов ещё далеко, стало быть, рано. Вот лежишь и думаешь о капусте: на каком рецепте засолки остановиться?

Сейчас в палату придёт удивительно красивая женщина, врач-невропатолог, будет задавать вопросы.

– У вас голова не чужая?

Замечательно! Тебе, точно, досталась не твоя голова.

Сюжеты истаяли.

Герой всё больше напоминает покачивающийся на лёгком ветерке клочок тумана.

Мы так давно не виделись! Мы так мало виделись!

Ты спрятался в своём Абрашино, чтобы ничего не видеть и не слышать. И никого. Ты забыл дни рождения детей. Ты забыл, что живёшь в стране, где национальные герои – сочинители и исполнители блатных песен. Где налог с богатых и с нищих исчисляется в равных долях. Где ликвидировали рабочие места, а следом ввели налог на безработицу.

Ты, конечно, убеждён, что родину можно любить вдали от всего этого, точнее – в стороне. Впрочем, ты давно уже изобрёл модель благополучия в отдельно взятом поселении. Вот она.

«Каждой крестьянской семье – набор чучел домашних животных. Если их расставить во всех дворах, деревня станет выглядеть очень уютно.

На сельских дорогах, под деревьями, установить чучела косуль, лосей и медведей.

В небе – чучела лебедей и жаворонков.

Единственное, что для этого потребуется, это немного технической изобретательности. А в результате – ощущение изобилия и удивительная красота.

Следует также завести вечерние костры для молодёжи.

Детям младшего возраста выдавать специальные противопожарные спички.

Для пожилых – народные песни под бубен.

Для людей среднего возраста – выставки красивых картин, с чаепитием и обсуждением.

К чаю подавать лимоны и мармелад».

За окном прощальная улыбка уходящей осени – тепло и солнечно. А в твоей чужой голове проекты переустройства двора и домика. Но ты же знаешь, никогда это переустройство не случится. Или это знаю только я? Что до меня – я собираю рыжую боярку, деревенские совсем не оставили красной. Доктора говорят, что именно красная помогает от сердца. Они слушают докторов? Од-

нако, чем больше им говорят о вреде пьянства, тем круче они хлещут самогонку и стеклоочиститель. Моя просвещённая тёща сообщила, что рыжая боярка нынче реабилитирована и теперь считается полезной наравне с красной. Но тут деревенских не свернёшь, только красную будут признавать... Собираю. Буду заваривать с шиповником и лечить сердце, в котором не то шумы, не то тоны какие-то не такие. Люди умирают и моложе меня, сколько угодно, дело у них такое – родиться, пожить и умереть.

Тебе уже сказали, что надо ко всему относиться спокойно? Ты внемли, ибо только так можно изменить мир, который вовсе не собирается меняться благодаря твоим усилиям. Для поддержания в себе спокойствия нужен характер, а ты не хочешь жить характером. Ты как-то высказал удивление: от бесхарактерных куда меньше вреда, так почему же так поощряется характер. Опять – энергия переустройства и вечная человеческая спесь!

Ветка земляники, огруженная переспелыми ягодами, друза опят на замшелом пне, зазевавшийся тетерев шугается из-под ног... Сон золотой! 19 октября. Пушкинские дни, пушкинская осень, где-то пушкинское вдохновенье?

А я опять вижу своего питерского друга в его Всеволожской. Та же осень, та же сырость, и если я заявлюсь туда сейчас, будет всё то же. Мы были другие, мы были молодые, мы принимали перелёт из Новосибирска в Питер дорогой в иномир. И дождь, и слякоть, и тоска были совсем другими... Наверняка в эту самую минуту он что-нибудь рисует, время, изувечившее его, соединило голову и руку как-то по-другому. Ну почему художники такие скучные люди! Его жена другая, но она, очень может быть, и не художник. Наверно, есть какое-то название людям, которые прекрасно рисуют, но не художники, пишут хорошие стихи, но не поэты, сочиняют замечательную музыку, но не композиторы...

Ты посматриваешь на новую тетрадь, думая, чем же её заполнить. С чего начать? Можно для начала написать о той, что подарила эту тетрадь, но для этого надо перестать её любить. Смешнее, нелепее не придумать – перестать любить! Попробовал бы кто вот так, по команде... А чернила будто призваны убивать самое лучшее, настоящее, потому о любимых невозможно написать. Все любовные романы о бывших любовях.

Да не любил ты, Коля, её, не притворяйся. Ты же убеждён, что кто-то создал обман на планете, наверно, чтобы оправдать её заселение, затем перенаселение. Обман этот называется необходимостью друг в друге. Мы не можем без врачей, без хлебопёков, без торгашей, без множества людей, идущих сейчас по улице и имеющих разные профессии. Мы не можем без любимых, жён, любовниц... Наверно, самое справедливое и правильное было бы общество, когда все жили будучи себе и акушерами, и хлебопёками, и ткачами. Любимые были бы нужны лишь для продолжения рода, и собственность на людей не распространялась.

Чтобы устроить мир по Мясникову, надо заткнуть рот человечеству. Столько болтовни вокруг – жратва, мебель, устройство, тряпки, секс, опять жратва и питьё... А представить на миг – человечество заткнулось. Нет информации, соответственно, нет и обмена ей, разоряются медиамагнаты, затухают телевизоры, затихают дома. Люди перестают понимать, зачем они возле друг друга, и покидают семьи. Дома приходят в негодность и рушатся, потому что неко-

му сообщить о неисправностях, некому вызвать слесаря. Все разбредаются по белу свету, осваивая вольные пространства, и пытаются спасти себя остатками знаний. Редкие особи успеют сделать минимальный запас одежды и провианта, позаботятся о семенах для будущего года. Специально выращивать хлеб для других, для продажи никто не станет, потому что никто не будет знать, что он – хлебопашец. Мир будет устраиваться заново, и мы даже предположить не можем, каким он станет. Одно несомненно: останется много памятников человеческой глупости, например, дома-гиганты, заводы-гиганты...

Письмо десятое

Привет, душа моя Мясников! Знакомо ли тебе слово смысложизнеутрата? Ну, смысл-то знаком, хотя, может, и слова такого вовсе нет, так, придумалось на больную голову. А ещё есть смыслотворение, это как раз её величество литература. Туда ты и побежал от его величества изобразительного искусства. За смыслотворением! Потом побежал обратно, потом снова туда... Про тебя писали, я вычитал в журнале «Сибирские огни».

«...Учился в разных учебных заведениях без ясного стремления что-нибудь окончить. В итоге стал профессиональным художником, участвовал более чем в тридцати персональных и групповых выставках. Картины Николая Мясникова представлены в музеях Новосибирска и Новокузнецка, в частных коллекциях США, Германии, Лихтенштейна, Израиля, Франции, Швейцарии, Австралии.

В начале 90-х Николай Мясников организовал содружество художников «Белая галерея» и в традициях художников-передвижников направил сей ковчег навстречу публике. Неся на своём борту футуристические послания Максима Зонова, Леонида Иванова, Александра Краснопева, Николая Жукова, Зинаиды Рубан, Сергея Дыкова, Владимира Квасова, Бориса Шилова, Натальи Чижик, Александра Косенкова, Елены Юдиной и многих других художников «сибирского андеграунда», «Белая галерея» путешествовала по сибирским городам больше пяти лет.

Николай Мясников – личность эпохи Возрождения. Он синкретичен. Чеканщик, медальер, слесарь, токарь, скульптор, дизайнер, архитектор, гравёр, дионисиец, аскет, проповедник, теолог, охотник до всего нового и одновременно тонкий знаток и коллекционер материальной архаики, имеющей отношение не только к искусству, но и к быту, повседневному обиходу человека.

Всё творчество Николая Мясникова было сплавлено воедино идеей общечеловеческого гуманизма и страстным, даже воинствующим неприятием вульгарного материализма. Более 30 лет Николай Мясников как художник, писатель, мыслитель проповедовал идеи нестяжательства, возврата к простоте и первоначальности семьи и быта, ратовал за возрождение культурологического феномена России. В одном из радиointервью Николай Мясников озвучивал свои мысли так: «Рухнул миф о великой русской культуре. Мы воспитаны на том, что у великой страны должна быть великая культура. Насколько она велика сейчас – мы видим по телевидению. Мы видим в новой ситуации, в новом времени того же самого человека из не такого уж далёкого прошлого, у которого двойное

мышление и двойной счёт, у которого фи́га в кармане и камень за пазухой. Когда для себя он может читать Лао-цзы, а для нас он будет делать поганый сериал. Раньше была одна идеология, а сейчас их две. И каждый человек, как и положено постсоветскому человеку, разодранному пополам, разделяет их обе. С одной стороны, это идеология барственного кайфа, когда двигателем внутри являются деньги и секс, когда ты можешь носить пальто до пят, ночевать в подпольном казино или какой-нибудь сауне, а утром уезжать «управлять государством». А с другой стороны, есть абсолютно нормальная идеология массы людей, которые понимают это «спасайся, кто может» и ищут свой хлеб, держась двумя руками за каждую возможность... Сейчас много пишут и говорят, что Новосибирск по своему географическому положению должен стать каким-нибудь Чикаго или Сингапуром. Но при этом не учитывают, что любой крупный финансовый, промышленный, научный центр – это обязательно центр культуры. Не будет Нью-Чикаго без театров, галерей, журналов. Как не будет великой нации, великой страны без своей литературы. Потому что литература – это форма жизни языка. Исчезнет литература – выродится язык. Исчезнет искусство – наступит эстетическая слепота. Исчезнет музыка – слух погрязнет в какофонии безобразно-агрессивных грохотов и скрежетов. И выродится незаметно нация. Она потеряет свой внутренний стержень. И вместо великой державы будет транзитный вокзал».

Боже правый! Коля! Ты опередил кое-кого, но сейчас, увы, о том же самом трещат без умолку умные сороки. Правда, в жизни это ничего не меняет. А твоё высокородное разочарование не усугубит хотя бы тот факт, что ты отрезан от телевизора, интернета и прочих коммуникаций. Сегодня, Коля, ты не человек Возрождения, ты пьяница из Абрашино, и тебе неизвестно, что нет ни одной идеологии, ни двух, ни трёх. А есть ряд устремлений нескольких разнородных групп населения. Что же до поисков смыслов – здесь важнее всего то, что иссякли сюжеты. Без них смыслы бессмысленны! Как тебе каламбурчик?

Мясников! На улице плюс девятнадцать! Это чудо кажется уже не прощальной улыбкой осени, а издевательством. Завтра, нет, послезавтра грянет зима. Не хочу! Я вижу тебя, день ото дня утепляющегося, чтобы, когда похолодает, поутру выйти на крыльцо и сощуриться на новый день. Вот ты весь передо мной – с вольной посадкой головы и серыми глазами за толстыми стёклами очков. Оправа «Директор», кстати, вышла из моды уж лет двадцать как. Впрочем, при ватной телогрейке и меховых чунях сойдёт. Это всё вне моды, это, Коля, вечно, как отсветы Возрождения.

Что это, ты проедаешь запасы, сделанные за лето, хотя ещё не вошел в зиму? Эдак не дотянуть до весны.

Возврат к простоте... Этого ли ты добивался, поселившись в своём Абрашино, устроив скит у трассы, по которой пылят крутые машины, а по обе стороны её день ото дня множатся дорогие дачи. Твой андеграунд изжил сам себя, поскольку не стало идеологии, а с ней и идеологических запретов, против чего выступал ты и все перечисленные выше художники. Ты, дорогой, спрятался от правды, которая почти всегда приносит разочарование. А правда такова, что

в вождеденном счастливом будущем оказался победивший прочие устои глобальный капитализм безо всякого намёка на братство, равенство и прочие благоглупости. Ногами ты, душа моя, как и я, не буду отрицать, врос в коммуносоциализм или социалкоммунизм – называй как угодно. Реальность разделила собственность поровну между двумястами шестьюдесятью четырьмя избранными и четырьмя миллиардами остальных. Это к вопросу о равенстве. И тебе никуда не сбежать из этого миллиардного списка! Кстати, есть ли ты там? Хибару свою ты ведь не оформил в собственность. И что ещё твоё, кот? Так он завтра сбежит или подохнет. Была бы хоть корова.

Погода ломается, ветер. Беспокойные листья метутся по дворам и дорогам. И чего им беспокоиться, мёртвые уже! Вчера был на событии, где успешные люди отмечали какой-то юбилей. Зашёл в обеденный зал – увидел прекрасно сервированные столы, за ними безумное множество красивых девушек и женщин. Прошло полчаса – ни одной, все какие-то серые с обилием отдельных недостатков. Да, брат, очевидно, не всегда стоит вглядываться. Кстати, сама жизнь такова, в неё нельзя слишком внимательно вглядываться, обязательно увидишь страшное. Просто живи и всё. Ты, Мясников, убежал от страха. Все, кто ищет перемен, рано или поздно оказываются перепуганными. Я это уже говорил где-то. Беда, постоянно преследует ощущение, а порой почти уверенность: я это уже говорил.

Письмо одиннадцатое

Вот и снег. И первые запахи зимы. Над моим городом летают чумовые птицы – голуби, вороны, воробьи. У меня башмаки из кожзаменителя, у меня клеёнчатый портфель. У меня дует из окна. Если трещина мира проходит через сердце поэта, то я не хочу быть поэтом. Я должен бы сейчас мучиться с похмелья на даче у племянника, однако сижу здесь и даже рад этому. Там обманываешься, что дышишь свежим воздухом, укрепляешь здоровье в парной... Всё равно рано или поздно надерёшься.

Интересно, у вас в Абрашино на Мраморном озере ловится рыба подо льдом? Летом я видел там окуньков. Конечно, ты, Мясников, старый ленивый браконьер, давно уж кроме сетей никаких снастей не признаёшь. А к озеру с сетями не подпустят.

Морозец. Снег. Солнце. Пустая голова. Сыну тоже поставили новые окна. Можно предположить, что по ту или другую их сторону, а то и по обе стороны жизнь как-то поменяется. Ты, Мясников, теперь не будешь являться в ореоле зимних узоров на стекле, хотя ты давно уже превратился в некий туманный призрак и лишь изредка просвечиваешь в дымке полубытия. Наверно, чтобы подразнить, похваляясь: я талант, это уже доказано, а вам всем предстоит доказывать себя в трудах. Трудитесь, идиоты, талант проистекает сам собой и живёт как явление природы. Нет, Коля, лучше я почитаю твои глупости, чем выслушивать их. Этот твой рассказ мне прислал Берязев. Называется он «Нить».

«Осенью, копаясь в земле на своём огороде, я случайно нашёл ржавый наколочник от стрелы. Отмыл его и разглядел.

Что-то очень знакомое почудилось мне в его очертаниях... И я вспомнил, как когда-то давно, лет триста или пятьсот назад, в какой-то иной, уже забытой жизни, я натягивал тетиву, целясь в себя – будущего, просвечивающего размытым силуэтом где-то в невообразимой дали...

И тогда я наивно верил, что стрела долетит до цели и разорвёт этот бесконечный круг существования.

И какие-то странные слова срывались с моих засохших губ...

Но, пролетая сквозь толщу времени, стрела истлела, не достигнув цели. И древко превратилось в труху, и оперение запуталось в тонких волокнах какой-то иной эпохи.

Только ржавый наконечник воткнулся в землю под моими ногами... Но теперь у меня есть винтовка, и мне ничего не стоит сделать ответный выстрел, и одним чуть заметным движением пальца оборвать то бездонное прошлое, что неким таинственным образом вмешивается в мою нынешнюю жизнь.

Надо только тщательно прицелиться в это размытое пятно между лохматыми краями татарской шапки, задержать дыхание и спустить курок. Но я знаю, что, пролетая сквозь плотные наслоения времени, моя пуля расплавится и кипящей каплей упадёт на чью-то чужую землю...

Я вынимаю патрон и ставлю винтовку в угол.

Но странная мысль поражает меня...

Я вспоминаю своего старого друга и незаконченные картины за его спиной, и полку на стене, где среди диковинных безделушек тускло светится давно пожелтевший череп с маленькой круглой дырочкой между пустых глазниц...»

Интересно, Коля, читал ли ты когда эссеистику Гарсиа Лорки? Он писал о фламенко. Это, по мнению знатоков, некое сочетание мавританских мечтаний и страсти, когда логика теряет смысл, это танец жизни, танец свободы, танец любви. Фламенко, и больше всего самая страстная её часть сигирийя, рисовала воображению замечательного Лорки дорогу без конца и начала, дорогу без перекрёстков, ведущую к трепетному роднику детской поэзии, дорогу, на которой умерла первая птица и заржавела первая стрела... Что-то похожее, да, Коля? Но очень отдалённо.

Меня всё долбит, доводя до сумасшествия, это дурацкое напоминание. Как будто я без того не помню. А домик на озере-чашке не построили! Детская дразнилка, повторяемая без устали... Вы, ребята, славную жизнь прожили, много дел совершили, других жизни учите, а домик, прилепленный к скалам над озером, так и не построили. Подумать: всего-то – домик! Вы не сумели догнать собственную мечту! Вы ноете по какому ни попадя поводу, вы ругаете и ругаетесь, вы более довольны собой, чем разочарованы. А главного не сделали. Дворец, населённый мечтой! Храм! Кто-то построил свой Тадж-Махал, не вы!

Простых слов всегда достаточно, чтобы написать высокое творение. Их отчего-то не хватает для простой жизни. Что такое имидж, по-русски можно? – спросили меня. И я растерялся.

Вчера сообщили, что число миллионеров в нашем городе заметно выросло. Это означает лишь одно: у кого-то настолько же убыло. Не из чего черпать,

кроме как от ближнего. А кто это такой нынче – ближний? Над нашим домом высится антенна. Кто говорит, что она для сотовой связи, кто – ещё для чего. Мне иногда кажется, Коля, что эта антенна – передающая, и выносит она в эфир остатки человеческого в нас. На каждом доме есть такие антенны, и, очевидно, где-то стоит огромное приёмо-передающее устройство, которое собирает все малые сигналы и выбрасывает затем в космос. Тот, ненасытный, питается нашим великодушием, умаляя его изо дня в день.

А ты всё мудришь на тему реинкарнации, только тебе хотелось бы прижизненного переселения. Этаким опытом на пробу, эксперимент. Можно уйти от животного мира. Если уж прочитываешь в себе зверя, дичь, прочую живность, почему бы не обратиться во что-нибудь растительное. Неплохо бы стать сосной, вечнозелёной и колючей. Ещё и жить дольше человека. А что если грибом? Опёнком – срежут на жарёху, а проглядят – червяки сожрут, мухомором – пнут с безразличием или злостью. Ягода, трава, паутина, листья... Можно получить разнообразие в цветах. Весной – стародубка, подснежник, потом огонёк, кукушкины слёзки, незабудки. Ландыши, марьяны коренья, шиповник... Но это всё в начале лета, и у всего чересчур короткая жизнь.

Лучше перейти в другого человека. Я, например, хотел быть художником, к чему не имел ни малейшей склонности. Перешёл – и стал, не то чтобы приобрёл его качества, стал им. Представляю, я – это Георгий Алексеев, и это я, а не он написал чудесный натюрморт с ковылём и апельсином. Ещё лучше уйти в женщину. Одно настораживает: нынче они или чересчур удачливые, или слишком несчастные. Как-то совсем мало средних, чтобы всего в меру. Крайности в женщинах всегда опасны.

Письмо двенадцатое

За окном морозный смог. И самый короткий день в году. Это маленькая примета надежды. Как ни плохо живём, на Новый год будет икра и шампанское.

Наш маленький не построенный домик не даёт мне покоя. Наверно, надо поместить туда своих героев, и пускай они проживают за нас нашу жизнь. Хочу побывать в Сан-Франциско, хочу посмотреть на Елену, хочу говорить с ней. Мир стал доступнее, только отчего-то не для меня.

Откуда берётся несовместимость? Прежде всего от попыток совместить. Наполненные поэзией ночи рано или поздно заканчиваются. Возлюбленные, перейдя в иное качество, перестают писать стихи.

Какое-то свирепое нежелание нового года, отдалить его приход, отодвинуть!.. Абрашино. Белое безмолвие. Дом, занесённый под крышу. Сейчас откроется дверь, ты, Мясников, выйдешь на свет божий из своей натопленной избы и скажешь что-нибудь вроде этого: во чреве бытия теплее и уютнее, но воля влечёт меня...

Твой дикий зверь многолик и непредсказуем. Сегодня это напуганная собачонка, озябшая, полуголодная, трясущаяся от страха. Бывает попугай. Куда реже – нахальная синица. Тебе хотелось бы завтра проснуться волком. А на деле выйдет какой-нибудь коростель. Может быть, шакал. Или осёл.

Собака – домашнее животное. И если даже она родилась от бездомной суки где-нибудь в сыром подвале, она всё равно не дикая. Она будет сторониться людей как опасных зверей, но они вынуждены признать, что это не знающее дома существо – домашнее.

Ты пролетаешь над собственной жизнью. Интересно и как-то по-особенному жалко смотреть на всё с высоты. Отдельные события помещаются в маленькие ячейки, собрание которых представляет собой что-то вроде скопления пчелиных сот. По какому принципу располагаются твои события, перемены – непонятно. География? Время? Настроение?

Соломон на вопрос, каков путь к счастью, ответил:

«Счастливы любящие, счастливы благодарящие. Счастливы умиротворённые. Счастливы нашедшие рай в себе. Счастливы дарящие в радости и счастливы принимающие дары с радостью. Счастливы ищущие. Счастливы пробудившиеся. Счастливы внимающие голосу Бога. Счастливы исполняющие своё предназначение. Счастливы познавшие Единство. Счастливы изведавшие вкус Богосозерцания. Счастливы пребывающие в гармонии. Счастливы прозревшие красоты мира. Счастливы открывшиеся Солнцу. Счастливы текущие, как реки. Счастливы готовые принять счастье. Счастливы мудрые. Счастливы осознавшие себя. Счастливы возлюбившие себя. Счастливы восхваляющие жизнь. Счастливы созидающие. Счастливы свободные. Счастливы прощающие».

В общем, как ты понял, счастливы все. Ты – тоже, тут про тебя достаточно. Впрочем, не про тебя ещё больше.

Ослепительное солнце. Рождественские морозы состоялись, это вселяет слабую надежду, что некоторые вещи и события в мире случаются по заведённому распорядку. Узнать бы имя распорядителя. И почему он ведёт себя по отношению к земному населению столь избирательно? Я готов подчиниться высшей силе, а вынужден сгибаться перед очистками.

Смешной, маленький и безусловно талантливый художник Александр Потапов вдохновенно рисовал комсомольцев-богатырей на Всесоюзной ударной комсомольской стройке. Прошло время, и он стал шифровать в символических мазках некую угрозу миру. Что-то там на его полотнах поделявает неистовый Фридрих...

Вырваться на простор... этому могут способствовать две вещи – деньги или отсутствие ответственности, то есть отпавшая обязанность те самые деньги добывать. Порочные круги, намертво запертые клетки... Мама в шесть утра шла в только что открывшуюся булочную за свежим хлебом, затем она убирала и без того сверкающую чистотой квартиру, что-то готовила, что-то стирала... И так изо дня в день. Я не догадался спросить, не чувствует ли она себя несвободной? Да что с того вопроса! Там, в той жизни, несвобода была во всём. Но в этой, нынешней, самым страшным оказалось – свобода. От «убить ближнего» до «уничтожить государство».

Я, как и ты, Мясников, хочу наслаждаться жизнью, хочу доказать хотя бы сам себе, что она того стоит. Есть же способ жития за пределами предлагаемых обстоятельств, но как вывести необходимый алгоритм? Ведь, как всегда, решение лежит в области простейших понятий и чисел. Оглядываться в сто-

рону погоста бессмысленно, однако они там, мудрые и талантливые, зовут за собой. Вот и задача – жить в мире живых, опасаясь их, отгораживаясь от них, получая от них в основном тычки и затрещины, и при том не слышать зова из мира теней...

Передо мной самоучитель игры на блок-флейте. Попытаться освоить инструмент на склоне лет – а почему нет? Это было бы забавно. Это было бы серьёзным покушением на предлагаемые обстоятельства. Это было бы проявлением силы. Ну да, а ещё физзарядка по утрам, обязательные страницы текста... Флейту я уже упоминал где-то, именно такую, именно в той же роли дудочки-спасительницы. Зачем она у меня хранится? Какого часа ждёт?

В каждом доме много чего не хватает, но ещё больше лишнего.

Письмо тринадцатое

Представляю зимнее Абрашино, так изумительно одетое в поэтические покрывала Николаем Мясниковым. Представляю самого Мясникова, не испившего ещё полной мерой чашу творческого тщеславия и человеческого честолюбия. Надо, очевидно, тебе, Коля, поменять вид творчества, чтобы вновь соблазниться этими алчущими тебя химерами. В Абрашине есть всё, чего нет здесь – чувство безответственности, свобода от хлопот, отсутствие человеческой трескотни, присутствие тишины и снежного морока. Мир тебе, Мясников, мир твоим грустным собакам и белым снегам. Сколь ни пытаюсь, не могу вписать себя в абрашинские просторы, и потому ты сам, Мясников, – потерянный стаффаж в помертвелом пейзаже.

Нет, столько времени отводить на белое безмолвие, – это бесчеловечно. Впрочем, природе плевать на человека с его притязаниями. Человек! Это смешно и дико – видеть светлым проблеском во всеобщем загнанном существовании индивида, который помнит наизусть Маяковского и видит местом просвещения туалет.

Не нашла ли тебя книга Мураками? Не уверен, что хочу читать, но надо же делать хоть что-то, далёкое от мер противопожарной безопасности, ремонтов машин и наставления идиотов. Интересно, что может вставить в моё послание компьютер? Пробую. Как встретил Новый год? Расскажи друзьям в своём блоге.

Вот, пожалуйста, ОНИ в своём блоге всё ещё отмечают Новый год. Спам поджидает тебя за каждым твоим движением. А может, неведомый кто-то специально делает так, чтобы ты как можно дольше думал о празднике. Благая миссия, кому-то надо!

Всё более странные письма получают, можно сказать, без адресата. Ты потерял телесную оболочку. Я дышу в твою сторону, и портьеры за твоей спиной колышутся. И взгляд проходит насквозь, и не находит, за что зацепиться ни в ближнем, ни в дальнем пространстве. И космос молчалив и холоден. Там тоже зима.

И вот я тебя идентифицирую с твоей же помощью, то есть ты ведь написал это «Отражение». Когда-то.

«Я давно уже знаю, что с этим пора что-то делать. Но откуда я знаю – что?»

Каждый раз, когда я хочу причесаться, я подхожу к зеркалу, но вижу там Мясникова, и руки опускаются сами собой.

Если я собираюсь побриться, я беру в руки бритву, но в зеркале меня уже поджидает Мясников. И он передразнивает меня.

Бритва выпадает из рук, брякнув о край раковины.

Когда я встречаю Володю Назнанского, он начинает расспрашивать меня о Мясникове, но при этом старательно делает вид, будто речь идёт обо мне. Мне становится неловко за нас обоих, и я ухожу. Он остаётся и делает вид, будто он удивлён моим бегством.

Иногда Мясников напивается, и тогда у меня болит голова. И мне трудно сосредоточиться на работе.

Но сегодня случай особый. Я услышал стук в дверь, открыл и увидел – опять! – Мясникова. И он быстро захлопнул дверь прямо перед моим носом.

Я стою на лестничной клетке перед собственной дверью и беспомощно злюсь.

Он живёт в моей комнате, пишет мои стихи, пьёт мой чай и стирает мои носки.

Он не трогает только расчёску и бритву, потому что уверен, что в зеркале он увидит меня...».

Умный человек в телевизоре сказал: масса доказательств того, что в нашей стране общественно-политическая жизнь не имеет стратегической глубины. Я подумал, что стратегическая глубина твоей, Коля, жизни в Абрашино измеряется глубиной погребя со съестными припасами. А в остальном... Мы с тобой лишь подтверждаем тот факт, что социальная активность россиян одна из самых низких в мире. Только два процента населения России уверены, что они могут влиять на ситуацию в стране. Мы, Николай Фёдорович, туда не входим.

Нет, книгу отречений ты писать не будешь, лучше начать, к примеру, книгу мужества. Вот сейчас в самый раз, с твоей застуженной спиной. Нет, лучше книгу снов и фантазий. Или книгу писем к любимой... Ты никогда не думал о том, что, перешагивая через себя, можно наступить себе на гениталии?..

Минус сорок! Мои деревья замёрзли. Мои птицы падают на лету. А под окнами мужики копают траншею. Им деваться некуда – работа. Полёт мысли давно уже остановлен, тоже замёрз. Впрочем, даже величественные непогоды никак не могут научить человека, сбить с него спесь и гордыню.

Или попробовать написать письмо самому себе (как будто я делаю что-то иное, когда веду переписку с тобой, не предполагая ответа!). И тем не менее. Я пишу тебе (мне), как обычно, складывая послание из листа бумаги и чернил. Чернильница моя почти пуста, правда, иногда её наполняет возлюбленный портвейн, иной раз редкие вспышки тоски по тебе. Любви давно уже нет, и потому удивительно, откуда берётся тоска? Мой долгий день неинтересен: работа, приготовление ужина и мрачное ожидание сна. Всё чаще я завидую тебе, твоим многочисленным бумагам, начатым и брошенным рассказам, запискам, ибо они раздражают тебя, зовут к жизни. Это важно, когда есть что-то зовущее к жизни. Дети, заботы, необходимость творить бытовые разности – вон сколько раздра-

жителей. У тебя есть загородный дом, который в разное время в разной степени служит источником твоего раздражения. Тоже призыв к жизни.

Пишу тебе из Санкт-Петербурга. Просто захотелось написать именно отсюда. У нас теперь холода отпустили, и вновь подала голос вечная досада любви. Всё ей мало, ненасытная! Я напоминаю тебе, как мы носили камни к дому художника Алексеева во Всеволожской. Так делали многочисленные его друзья, знакомые, знакомые друзей. Камней столь много, что ими выложены все тропки сада, все дорожки на подходе к дому, площадка перед воротами. Это было... Последний из принесённых камней покрылся мхом...

А помнишь ли ресторан «Волхов» на Литейном, столик на четверых и заминка жены твоего друга? Ты даже и не подумал о том, что они подруги с твоей женой, и видеть тебя с кем-то из твоих знакомых дам ей не доставляет удовольствия. Тебя осуждали, а тебе было плевать на всё. На нынешнем морозе плевки должны были бы превращаться в ледышки и со стуком падать на окаменевшую от стужи землю.

Я будто снова гуляю с тобой по Васильевскому острову и говорю в задумчивости, повторяя излюбленную фразу твоей возлюбленной: вот такой он, наш каменный город...

Помнишь «Котлетную»? Обед с рюмочкой водки? У нас дома как не было «Котлетной», так и нет.

Не хотелось бы заканчивать письмо на этом, но ещё больше не хочется продолжать. Скучай по мне, это тоже имеет отношение к жизни.

Письмо четырнадцатое

Нынче с утра ты, Коля, вышел прогуляться по морозу. Всё вокруг залито солнцем, однако мороз на этом ярком фоне кажется ещё более жестоким. Обещанное всемирное потепление получило пощёчину. Так в своё время рухнули прогнозы по поводу обезвоживания Каспия. Природа, сотворённая атмосферой Земли, как будто не замечает саму планету, а тем более – научных теорий, рождённых на ней. Усилия, озарения, провалы, как итог деятельности серого вещества, – всего лишь естественные отправления одного из видов, населяющих планету. Какашек муравья никто не видит...

А всё-таки хорошо! И никого в целом белом свете! Ты идёшь сам с собой, живёшь сам с собой, радуешься самому себе. Вообще-то Я – сдвоенная конструкция. А когда-то могло быть и ЯТЫ. Вещь растворяется в слове, слово утверждает вещь. Проклятые философы! По Дугину, когда мы говорим «я думаю», мы не подозреваем о том, что речь идёт о случайном перекрещении внедрённых в сознание кодовых таблиц. Ничего близкого к «Я», ещё дальше от «думая». Забавно, не правда ли?

Философы – бродяги, выбравшие себе заковыристый путь между «здесь» и «там», причём обе станции они определяют вольным путём, как удобно для себя. Время, пространство – такие же игрушки, как камешки с берега Вечно-го моря. Это, наверно, здорово – не иметь ни страха, ни подобострастия перед бесконечными величинами, более того, утверждать, что они конечны. Однако у

кого-то может возникнуть подозрение, что таким образом великие умы пытаются изгнать из себя комплексы неполноценности. Время доходит до конечного предела, мировые песочные часы переворачиваются... Философские игры. Во всём присутствует время. Песок получается из камня – со временем, сам переворот часов требует времени и происходит во времени. На всё тратится время, и вечность, противопоставленная времени, – пустой звук, ибо представляет собой время, протянутое в бесконечность.

Поэт восклицает: не дай мне Бог сойти с ума! Неправда его! Без сумасшествия не будет поэта. Но что есть сумасшествие? Здесь море ясности. Никто не может дать определение нормальности, зато любой готов определить сумасшествие. Хотя тут порой даже узкие специалисты пасуют.

Коля, ты никогда не задумывался, что нет ничего лучше того, что окружает нас? Вот сейчас, в это мгновение, на этом трескучем морозе, в этой озябшей юдоли, именуемой между нами Абрашинским скитом? Поменяй уныние на восторг – и в мире ровным счётом ничего не изменится, но ты, Коля, воспарить над этим миром и поймёшь, что нищает не он, нищает сердце, через которое мир проходит. Оно теряет остроту восприятия и попросту не видит, не замечает многого вокруг. Но есть спасение, замечательная черта – высокомерие перед миром. Это сила и здоровье, поднятые на фундаменте самой высшей философии, имя которой – глупость. В истинном восхищении перед химически чистой глупостью только и можно понять истоки и условия счастья!

Латинский глагол *revelare* одновременно означает и «вскрывать» и «закрывать». Современность с точки зрения Рене Гийома есть аномалия, это всего лишь одна из моделей в рамках бесчисленного набора других возможностей.

В Анапе нашествие моллюсков.

Хакеры взломали паспорта будущего за два часа.

Бешеный слон напал на туристов в Таиланде.

Платье из четырёхсот презервативов выставлено в Рижском музее.

Америка парализована из-за небывалых морозов.

В аэропорту арестовали женщину с человеческой головой в багаже.

Мир, в котором мы живём...

Предлагаю привычное «Как дела?» при встрече изменить на «Основания для оптимизма имеются?». По крайней мере, в этом вопросе меньше пустоты.

Мясников! Ты впитываешь это предвесеннее солнце всем своим уставшим, измаявшимся за зиму организмом. Ты на воле! Если в нашей всеобщей тюрьме есть заповедники, ты в одном из них. Скоро в Абрашино не будет видно противоположного берега – Обь разольётся. У меня гипертония и запрет на любимое вино. Впрочем, вино нынче что-то поплохело. Настоящего портвейна давно уже нет, пробовал пить кубанские вина. По цене хороший портвейн, по вкусу – спиртосодержащий продукт. Этот новый вполне себе узаконенный термин соответствует содержанию. Спрошу у доктора, что пьют гипертоники...

Опять солнце. Каждое утро – утро надежд. Вчера я написал заявление об уходе с работы. Очередной круг завершён. Возвращения не будет, хотя... Ведь можно возвращаться туда, где никогда не был. Ты же рассказал про своё «Возвращение в Эдем».

«Я давно здесь живу.

Если разобраться всерьёз, я только этим и занимаюсь.

Меня знают здесь все, и многие любят. Меня любят дети, кошки, собаки и жёны. Но не любят владельцы, отцы и – особенно – мужья.

Для меня в этом нет никакой загадки. Всё очень просто. Дети и женщины любят потому, что умеют любить. Кроме того, когда они любят, это их радует.

Кошки с собаками тоже умеют любить, и это их радует тоже.

Владельцы умеют только владеть.

Мужья подражают владельцам. Если это не получается, а такое случается часто (ведь надо ж иметь определённые навыки, а у кого они есть?), то они обижаются и начинают говорить об обидах.

Всегда – об обидах.

А это не каждая выдержит.

Жёны бегут, за ними дети, потом кошки, потом собаки. Это так заразительно, что мужья побежали бы вслед. Но как же они тогда смогут изобразить нам обиду? Они сидят неподвижно и покрываются пылью. Зарастают травой.

Трава начинает цвести.

Когда мы на них натываемся, мы принимаем их за лужайки, за холмики... Водим вокруг хороводы.

Дети, женщины, кошки, собаки. С ними и я неразлучно. Нам бы очень хотелось, чтобы на этих лужайках с нами вместе резвилась коза.

Но козу захватили владельцы...»

А ты не знаешь, Мясников, зачем я всё время подсовываю тебе тебя самого? Знаешь, конечно! Ты сидишь в благословенном своём Абрашино и переписываешь сам себя на который уж раз. Изначальная версия давно выпала из памяти.

В мире мудрых мыслей прижилась одна глупая. Она была так глупа, так никчёмна, что распознать совсем невозможно, о чём она, эта мысль. В общем, так, пустышка, одно название – мысль. Но – она была. Шло время, мудрые мысли трудились без устали – мудрость не знает отдыха – изнашивались, истирались, теряли собственно мудрость и, естественно, старели. Тогда как наша пустышка бездельничала, жила себе вольным ростком во чистом поле. Возраст не читался на её лице, гладком, розовощёком, счастливая улыбка не сходила с него. И тогда мудрые мысли начали всерьёз присматриваться к своей никчёмной соседке, которая доселе никогда не достаивалась их внимания. Мудрые смотрели, делали выводы и поняли наконец, что быть мудрыми в отличие от прочих себе дороже. И они решили поменяться. Нет, не подумайте – не местами с глупой! Они решили поменять себя, благо, пример перед глазами. При всей своей мудрости они не догадывались, что стоит им только начать меняться, – и мир вокруг них изменится...

Это, Коля, начало сказки, продолжение за окном, посмотри внимательнее. И не забудь при этом напутствие Кафки: «За окном самое страшное. Всё остальное ангелоподобно...». А конец предстоит нам с тобой придумать.

Письмо пятнадцатое

Луна вступает в новую фазу, что, по словам астрологов, нынче благоприятно для родившихся под знаком «рыб», то есть для тебя, Коля. Да и то – пора бы! А вот интересно! «Рождённые под этим знаком интересуются мистической и духовной жизнью и разнообразными необъяснимыми явлениями, что вообще свойственно Рыбам. Часто эти люди являются фаталистами, а потому встречают удары судьбы гордо и с высоко поднятой головой. Они сильнее, чем кажутся окружающим и себе, но эта сила и стойкость часто раскрывается только если у этих людей случается какая-то беда, которая парадоксальным образом в итоге помогает им познать себя и стать более развитыми личностями».

Не будем же мы, Коля, поджидать беду, чтобы доказать миру, что мы лучше, чем есть на самом деле! Но имей в виду, воображение и поиск художественных замыслов сегодня вредны для жизни. Знакомый кинооператор звонит:

– Все идиоты и бездари востребованы! Специалисты сидят по домам!

– Привыкай, – говорю, – такова новая реальность.

Мясников! Всё-таки ты самовлюблённый тип, но ведь эта самовлюблённость – лучшее средство спасения против ополчившегося против тебя мира, не так ли? Она питает ту скудную почву, на которой тебе приходится произрастать, ибо больше питаться нечем. Самовлюблённость – самодостаточность – самореализация... Ты отдалился от сибирских столиц, но этой удалённости тебе недостаточно. Ты раздвигаешь границы огорода, чтобы удалиться от соседей, до которых без того – случись что – не докричаться. Кстати, настоящий себбялюб просто обязан быть мизантропом. Что там за творческий псевдоним ты себе придумал? Маклай? Так тот исследовал свои отношения с туземцами, ты же придумал иное занятие – исследовать принципы отторжения. По логике – надо закончить круг: отторгнуть городских, деревенских, редких гостей, собак, наконец, и тех прогнать от себя...

Что там твоя деревня! Наш город некто охарактеризовал как закрытый мир для большинства его жителей.

Когда в писательский дом заходит кто-то со стороны, этот соискатель места в творческом сообществе, проситель (по соображениям этого самого сообщества), никто не оторвётся от бильярда, никто не поднимет головы. И лишь как-им-то неуловимым движением ягодичек, направленных на вошедшего, ему будет указано: иди за водкой. Потом, когда водка будет принесена, её станут пить, исполняя рутинный обряд, и, может быть, забудут про пришедшего и не предложат ему выпить. Водки ведь всегда мало...

Незаметно проистекает жизнь литераторов и художников в нашем городе. Хороший сюжет – Анатолий Корчуганов. Не стану тебе объяснять, кто это, приедешь – познакомлю.

Голуби залетели необычайно высоко и полощутся там на ветру, точно тряпье, поднятое с помойки. Ощущение, будто птицы в этом состоянии испытывают какое-то особое удовольствие. Вполне возможно, это у них такой способ ухода за собой.

Всё – фрагменты византийской мозаики, великолепные фрагменты, кото-

рые никак не складываются в цельное панно. Сплошные фрагменты – от Новгорода до Константинополя.

Дорогой Мясников! Ты давно не отвечал на мои письма. Каково начало, а? Ты ведь не ответил ни разу, и мы оба прекрасно это знаем. Знаем с тех самых пор, когда...

«Слава Богу, наступила свобода!

И теперь можно писать всё, что придёт в голову, не избегая самых коротких слов.

Можно рисовать любые картины и показывать разным людям. И никто не упадёт в обморок, чтобы, очнувшись, сразу побежать с доносом...

Можно просто ничего не делать. Не делать важного вида, не творить мировую культуру, не лезть на страницы газет, на экраны телевизоров, в историю.

Вообще никуда.

Можно просто пить пиво – сидя, лёжа или прогуливаясь по улицам, чтобы взглянуть в озабоченные лица сограждан, – потому что наступила свобода, и потому что это – Сибирь, глухая провинция, наша родная окраина мира.

Весь остальной мир находится так далеко, что нам пришлось бы подпрыгивать тысячу лет, прежде чем он заметит какое-то шевеление где-то за Уральским хребтом.

В самом деле, лучше пить пиво.

И уж если писать картины, то только для себя, только для себя, и никому не показывать. Чтобы им тоже не было стыдно.

Бог с ней, с мировой историей. Прощай, мировая культура.

Наливайте, пейте.

Присматривайтесь...»

Да, то было во времена пива. Незаметно им на смену пришли времена вермута, водки, и вот наконец настала эра самогонки. Много нынче нагнал? Ну да, самогонки много не бывает, тут ты прав. Ты прав и во многом другом. Когда твои соседи упорно искали в лесу грибы, ты спал, раскинув руки, на небольшой полянке. Твоя самогонка, по твоему утверждению, святее самой святой воды. Ты не позволишь кропить ею, то есть разбрызгивать по сторонам, ты сочтёшь сие деяние за величайшее святотатство. И как ты не сопьёшься, ты, герой-любовник, игравший эту роль в цивилизованном мире? Ты, давно доказавший себе, что из двух наслаждений – женщина и самогонка – вторая куда сильнее и чище. В наслаждении что главное? На твой взгляд, иллюзорность. А какие иллюзии с женщиной? Одни разочарования. Другое дело – эта не всегда прозрачная, сивушная дрянь...

Замечательный человек жил у меня по соседству, Николай Михайлович. Нет теперь соседа. То есть он живой, и забор, за которым он обретается, на прежнем месте. Меня нет. Дача продана. Без малого тридцать лет копал я огород. И дом построил. И жил в доме том... А Михалыч строгаёт доски. Себе, людям... Каждый день обязательно включает свою циркулярку, и она весело позванивает на полдеревни. Легче надо расставаться! – говорю я себе. – Легче!

Письмо шестнадцатое

В тот год молодой картошки не было. Подкопали на первую пробу – а там уже обтянутые задубелой шкуркой клубеньки. Второй куст вскрыли – то же самое. Болезнь, что ли, какая? Так и не понял никто. И вкус у неё без привычного аромата, который поджидаешь едва ли не с нового года. И огурцы на просол складываешь, думая, что аккурат к первой молодой картошечке поспеют. И грибочки. Каково это – вдохнуть парок особого настоя из распахнутой восторженной земли и весёлой, плодovитой осени! А тут – картошка без запаха и вкуса... Обиженными себя почувствовали большие и малые земледельцы, обойдёнными. А бабка Терпилевна, соседка через огород, поменявшая опыт жизни на телевизионные подсказки, выразилась следующим образом:

– Подумаешь, картошка до срока состарилась! У них вот океан на Крайнем Севере теплеет. И льды растаивают. И скоро всех отсюда вместе с картошкой смоем.

Ах, Коля!

Какой-то праздник по календарю. Тебе привезли шампанское. И ты рад. Хотя собирался пить одну самогонку. Открою страшную тайну, только не знаю – кому: ты сам его, это шампанское, заказал!.. Ты собираешь по дому последние листочки рукописи новой книжки, готовишь к изданию. И ждёшь, и надеешься, и вожделеешь... Эй, Мясников! Ты ли это? Ты будешь бегать по издателям и знакомым богачам, чтобы издать эту книжку?

Тебе не кажется временами, что твоя покосившаяся изба с твоим огородом, окружённым покосившимся забором, стоит посреди Новосибирска? Тут журнал, тут издательство, тут бывшая жена и любовницы, тут книжные развалы... Ты никуда не уехал, ты окружён всем тем, от чего якобы убежал. А что твой зад мнёт табуретку за пару сотен вёрст – это ничего не значит. Твои соседи потому тебя терпеть не могут – ты вечно чужой. И ты, в свою очередь, готов отстреливаться.

Коля! Коля! Коля! Душа моя давно к тебе просится. Хотя, подумать если, про душу свою давно уж ничего не знаю. Она со мною не общается, высокомерная какая-то стала – цаца! Я, конечно, не подарок, наплевал в неё за свою жизнь немеряно, только ведь она бессмертна, стоит ли обижаться на тленную оболочку, временное, ненадёжное пристанище? Но, как бы там ни было, что-то зовёт меня к тебе, манит с безудержной силой.

В доме напротив загораются окна, люди вносят жизнь в пустовавшее до этой поры жильё. Оно наполняется голосами, запахами, движением. Но это зачастую лишь приметы жизни, не жизнь. Всё состоит из примет, всё заселено приметами. Вместо благополучия приметы его, вместо любви – приметы, вместо счастья – приметы...

Странное время... По Аполлону Григорьеву, художник пишет жизненно узаконенные типы. И он же утверждает (абсолютно справедливо!), что в иные времена, особенно в такие, как нынешние, писать о плохом куда легче, чем о хорошем. Руда обеднела, а добывать из неё чистое вещество надо в тех же количествах. А главное – в том же качестве! Парадоксы! Всё больше затрат ума,

времени, сердца – и всё меньше это стоит хоть в денежном выражении, хоть в интересе окружающего мира. Никто никому не интересен! С любовью смотрят только на твой карман, он же может вызвать жалость и презрение. Жизнь узаконены не только типы, но и отношения меж ними.

Мой немногословный племянник в последнее время стал ещё молчаливее и, как древний мудрец, афористичен в своих редких высказываниях. Едем с ним вдоль бора.

– Бывало грибов в этом лесу! – вспоминаю я. – Да и самого леса стояло поболее...

– Бывало, мы вдесятером помещались в песочнице...

Письмо семнадцатое

Как трудно бывало дотянуть от осени до осени! А нынче и вовсе не получилось.

Это уже не сюжетный поворот, это случилось на самом деле – ты умер, Николай Фёдорович. В последние минуты, когда сознание возвращалось к тебе, ты отправлял вопрос в никуда: в Новосибирске похоронят или в Абрашино? А разница? Какая разница, Коля, если Земля едина? Вот ты лежишь и совсем не похож на себя с той фотографии на сборнике рассказов. Ты лучше. Ты без обмана, вечный обманщик! Смерть никого не красит, но она убирает лишнее. Она ещё тот график, и сейчас ты похож на твой автопортрет в одну линию: взмах угольком – и вот она, точная копия. Большому мастеру Даниле Меншикову такого результата не достичь. Данила, ещё один дачник из Абрашино, ваши дома на одной стороне главной Абрашинской улицы. А, кстати, где Данила? Ты не видишь его среди гостей. Хм, гостей... А как назвать тех, кто пришёл на похороны? Прощающиеся? Ну и словечко! Пришли не к себе домой – раз, на короткое время – два, после всего их ожидает угощение. Гости как есть! И не надо вспоминать о том, что все мы гости на этом свете. Вот ты, Коля, уже отгостил. Закроют, заруют, и ты уже никогда не узнаешь, сколько рюмок выпьет на поминках Слава Михайлов до той поры, когда вцепится в рукав Берязева и потребует ответа за твою смерть. Ему совсем не важно, что Берязев никак не может быть виноватым в твоей смерти, он, по мнению Славы, виновен в гибели всякого творческого начала, и прежде всего его, поэта Михайлова, много лет тянувшего лямку сотрудника журнала. А Данилы всё нет. А это чья там спина возле дверей? Никак, Толя Соколов? Стоп! Какой Толя? Он умер двумя годами раньше и никак не может быть здесь. Или явился некий переходный коридор, когда доступ оттуда сюда для особо желающих открыт? Путь отсюда туда открыт всем без исключения, а вот оттуда... Феномен не изучен.

Все успевают сделать мало, меньше, чем могли бы. Чем хотели. У тебя вот фронтон остался не закрытым, крыльцо не подправлено, что уж говорить о заборе, вместо которого полынь да крапива. И завещание ты не написал. Правда, успел продать половину своего участка той самой дочери своего городского приятеля, с которой у тебя когда-то случился роман. Молодая дама приехала

с мужем, и ему понравился участок. А тебе край как нужны были деньги. Насколько мне известно, на издание новой книжки. Тщеславие паче мудрости... А из того романа не вышло романа, прости за каламбур. А было бы интересно, ты бы, как всегда, перевернул все правила с ног на голову, придумал бы совсем придуманных соседей по планете. Увы, ты никогда бы не написал этот роман, ты – человек короткого дыхания, спринтер.

Ну и дрянь же эта абрашинская самогонка! Берязев, сосед твой, настоял, чтобы на помин души твоей нетленной мы выпили именно этот напиток. Иначе душа твоя, дескать, не примет нашего поклона. В истории, которая вместит твою жизнь, этот гадкий напиток безусловно займёт особое место.

Кому хуже – Абрашино без тебя или тебе без Абрашино? Деревне всё равно, она давно уже потеряла себя. Сметаны не купишь, коров – сколько пальцев на руке, дачники в драку за молоком. Одна фермерша Лариса за всю деревню отдаётся – куры, утки, гуси, свиньи, овцы... Скоро новую паромную переправу откроют, совсем близко будет от города до Абрашино, проглотят деревню дачи. Да и тебе всё едино, поскольку сказано уже – едина земля, принимающая и только что рождённых, и прах сынов своих поживших. И не получается от земли оторваться ни живым, ни мёртвым. И пеплом стать – всё одно на землю падёшь.

«Над тобою бархатное небо.

И тысячи лун на нём.

И звёзды – как крупный орех...

Для тебя – лимонные облака на закате – лёгкие, как перо попугая, и прозрачные, словно лунный свет.

И сладко цветут деревья, и сквозь этот сладкий запах тихо дышит тёплое море.

Для тебя – шорох платья и блеск камней, и музыка, и фонтаны шампанского. Звон бокалов и звук поцелуя.

И юноши, срывающие цветы, чтобы надкусить стебелёк...

И хочется плакать и плавать, веселиться и танцевать...

Я лежу на краю Земли. Врастаю рёбрами в почву.

И по рёбрам колотит сердце...

Вслушиваюсь в эту бездонную тяжесть в тайной надежде услышать тихий ответный стук.

Земля...»

В берязевских записках отыскалось вот это.

«Перебираю близкие имена.

Взвешиваю былые и неизжитые вины...

Николай Фёдорович МЯСНИКОВ, художник и писатель, лет двадцать или около того мы были близкими друзьями. Умер в Абрашино в марте 2012 в возрасте 58 лет. Сегодня, проведывая внучку Володею, столкнулся взглядом с его картиной «Яхты». Ничего не ушло...

КОГОТЬ

Кривизной ястребиного когтя
Сквозь холстину опавшей листвы
Две николкины смерти проходят,
А на третьей – не снести головы.
Коло-Коля! Бродяга и лапоть!
За околком твой полдень звенит...
Корку грызть или по небу плавать –
Всё одно для тебя. Ты открыт
Бесполезному ветру и свету.
Кружит ястреб над ветошью лет.
Дай ответ! Только нету ответу.
Где ж ты, дурень, рыбак и поэт?
Входит коготь под самую жилу,
Раздирает холстину до дна,
Смерти нет – только свежесть и сила!
А царапина – не видна».

Что-то неправильное происходит. Данила разошёлся со своей чудной женой и оставил Абрашино. Только разноцветные наличники напоминают, что здесь когда-то жил художник. Муза осталась. Её привозят сюда на машине, размерами напоминающей тепловоз. Берязев разошёлся и оставил своё имение сыну. Твоё место заняла прекрасная дама с семейством...

А как же я?! Как же без меня Караканский бор, грибы-опята под старым берёзовым пнём, Мраморное озеро, Обь с чистыми песчаными берегами, с окунями, каких я нигде больше не ловил?

Я-то как, Коля!?

Борис БУРМИСТРОВ

НЕ СПУГНУТЬ БЫ ТИШИНУ АЛЛЕЙ

* * *

Снова май, черёмуховый холод,
Белый цвет кружится и кружит,
Снова май, и я, как прежде, молод,
Хоть и время быстренько бежит.
Белый сад, высокая ограда,
Фонари оранжевые в ряд,
На скамейке возле палисада,
Как всегда, влюблённые сидят.
Прошлое так стало близко нынче,
Даже скрип калитки узнаю,
Снова песни, снова трели птичьи
Так же душу трогают мою.
Так же сердце ёкает тревожно,
Не спугнуть бы тишину аллеяй.
Подойду и сяду осторожно
На скамейку памяти моей.

* * *

То смеяться, то плакать хочется.
Человеку так много дано.
Одиночество, одиночество –
Как прекрасно порою оно.
В зимний день на постой к тебе просится
И стучится негромко в окно.
Одиночество, одиночество –
Как печально порою оно.
Часто верим в пустые пророчества,
По дороге пылим, по тропе.
Одиночество, одиночество –
Затерялось в людской толпе.
Одиночество, одиночество –
Ни смеяться, ни плакать не хочется.

Поэту В. Ковшову

Колодец рыл мой друг Валера –
«Пространства столб шёл в глубину».
Там в глубине ионосфера
Ему светила одному.
Он видел звёзд немых свечение,
Небесный свод под ним трещал,
И вод подземное течение
Он слышал, видел, ощущал.
Трудился с небывалым рвением,
Успеть к заутрене хотел –
Каким-то необычным зрением
Он космос в недрах разглядел.

* * *

Кровь рябины на снегу –
Тихий зимний вечер.
Мы живём, как на торгу
Жизней человеческих.
Мы торгуем всем святым,
И душой, и телом.
Над землёю серый дым
В беспробудно-белом.
Мы живём, не чуя лет,
И под вой метели.
Натворили столько бед
И творим доселе.
На каком таком веку
Мы поладим с веком?
Кровь рябины на снегу
Засыпает снегом.

* * *

Е. М.

Вы говорите, что стихи грустны,
Они теперь не могут быть иными.
Ну что поделать, если даже в сны
Приходят все трагедии земные.
Такое время нынче на дворе,
Всё злее зреет мировая ссора.
Горит уже не шапка на воре,
А целый мир сгорает от позора.
Всё оттого, что тает доброта,

Как снег весенний, в глубь земли уходит,
И жизни безоглядной суета
Нас друг за другом строем гонит, гонит.
Чем ближе к краю, тем прозрачней даль,
И тем яснее перепуток дальний.
Мои стихи печальны, но печаль
Струит по миру свет исповедальный.

* * *

Перешагну через трещину
И... в полыню.
Как я любил эту женщину,
Как я люблю.
Кротость свою и робость
Прочь отгону.
Перемахну через пропасть
И... в полыню.
Лютого ветра затрещину
Вновь получу.
Как я любил эту женщину,
Вспомнить хочу...
Снова пустые новости
Ухают вслед.
Перемахну через пропасти
Прожитых лет.
Времени талую трещину
Льдом застеклю.
Как я люблю эту женщину,
Как я люблю...

МУЗЕЙ ВРЕМЕНИ

Странный дом, ни окон, ни дверей,
Кирпичом замурованы ниши.
А вокруг ни людей, ни зверей –
Только кот, будто сторож, на крыше.
Охраняет заброшенный дом
Кот-баюн серо-дымчатой масти.
Время спит в этом доме пустом,
Там утихли все споры и страсти.
Сто иль тысяча минуло лет,
Прокатились и бури, и стужи.
То закат наступал, то рассвет,
Только всё это было снаружи.

* * *

Частоколом дней обнесены,
Не прорваться через этот бруствер.
Иногда бывают просто сны –
Никаких загадок и предчувствий.
Иногда приходят просто сны,
Всё-то в них, как наяву, понятно.
Никакой обиды и вины –
В прошлом всё, ушедшем
безвозвратно.
Только свет какой-то неземной,
Только радость в этих снах земная.
Всё прошло, осталось всё со мной.
И любовь – как ягодка лесная...

ГРАНИ СУДЬБЫ, ИЛИ ОДА СТАКАНУ

Стакан гранёный, сколько граней,
Пустых надежд, пустых мечтаний!
Под звон стекла давай, дружище,
До дна давай, давай до днища.
Потом сыграем в кошки-мышки,
Потом ни дна нам, ни покрышки!
На гранях матовые блики,
Сквозь эту муть светлеют лики
Друзей, товарищей далёких –
Не сосчитать мне граней многих,
Не сосчитать потерь случайных
Тех лет весёлых и печальных.

20.06.2018

Геннадий СКАРЛЫГИН

ЭТО МЕСТО ДЫШИТ ВЕЧНОСТЬЮ

* * *

Встречает нас гортанной речью,
Бурлит сквозь вечность Хамсара.
Рекой наш путь, мой друг, отмечен,
Она зовёт нас. Нам – пора.

Пора в тайгу, на перевалы,
Пора в палатку от дождя,
Когда нас греет лучик малый
От костерка, от камелька.

Ах, эта звонкая водица,
Как эта терпкость холодна.
Да – эта жизнь. Ещё приснится,
Ещё привидится она.

НА РОДИНЕ

Когда же это было, боже.
Полвека минуло уже.
Вот этот холмик мной исхожен,
И Дом стоит настороже.

По этим склонам, было дело,
Я землянику собирал.
И ночь смородиною спелой
Нас провожала на вокзал.

Мы разбежались. И не стало
Ни земляники, ни полей.
И смотрит бабушка устало
На непутёвых сыновей.

* * *

Я себя там не узнаю,
Мне не узнать себя.
Как будто в чужом краю
Хватил холодного октября.

Как будто уже совсем
Уходят дни и печали.
Уже приходит во сне
То, о чём мы молчали.

* * *

Прав, конечно, Валентин Распутин,
А Астафьев был тогда не прав.
Разошлись писатели. Распутье.
Горьких слов друг другу не сказав.

Может, это старость и затмение.
Но сегодня ясно нам одно,
У России тот писатель – гений,
Кто с Россией, с болью заодно.

* * *

Александр Казаркину

Лечить нас надо тишиной.
От громких слов завяли уши.
Давай присядем. Ты послушай,
Как тихо над родной страной.

И в этот час, и в это утро
Хрустальной будет тишина.
Вся в бесконечности она.
Ты поступаешь очень мудро,

Что здесь в обнимку с тишиной
Проводишь время долго, трудно.
Тебя несёт ночное судно
Туда, туда, где мир иной.

Где нет ни скрежета, ни стука,
Ни лозунгов и ни речей.
Там тебя встретит книгочей
Чуть свет – товарища и друга.

* * *

Кажется, я растворяюсь в тебе.
В твоих волосах, в морщинах.
Надо быть благодарным судьбе
За то, что не растащила,

Не размыла, не унесла в кульке,
Не бросила нас на дороге.
Мы стали единой волной в реке,
Единым всплеском. Таким же строгим

Был день и вечер, и было утро.
И глас закатный, и глас рассветный.
И было море дыханьем мудрым,
И лист шершавый и неприметный.

НА ВАСЮГАНЕ

Это место дышит вечностью.
Дышит далью и тоской.
Ляжет болью и сердечностью,
Растревожит твой покой.

Понесут стальные крылья
Пароходом, катером
От вселенского унынья,
И к отцу, и к матери.

Здесь у края – жизнь болот,
Комары, как звери.
Лай собаки у ворот,
И открыты двери.

Всяк здесь может в дом войти,
Всякого приветят.
Сколько встретишь на пути –
Всё твои соседи.

Перемешан мир. И знак
Дан нам свыше. Вскоре
Будет – небо, сгинет мрак.
И исчезнет горе.

* * *

Озеро нахмурилось. Родное.
Листьями покрылось. Вдалеке
Чертят утки полотно стальное,
А потом срываются к реке.

Здесь они зимуют. Им не сладко
В холоде, в проталинах речных.
Многое неладно и не гладко
Здесь у них. Но нет путей иных.

* * *

Василию Казанцеву

Поэт не знал конца и срока
Своим мечтаньям и словам.
Бежала жизнь – строга и строго.
Бежала выше, выше. Там.

А здесь колеблилось свеченье
Осенних листьев, птицы крик.
И вот оно пришло – мученье,
Мученье, ставшее на миг

Итогом жизни и свободы
От дел мирских, от прежних дел.
И, растворённое в природе,
Сознанье – это ль мой удел?

* * *

Андрею Груздеву

Поедем в пятницу в Володино.
Подышим воздухом полей.
И ощутим дыханье родины.
Дыханье родины твоей.

А это нужно нам порою,
Как стих, как музыка твоя.
Я полюбил, друзья, не скрою,
Бывать здесь. Да не только я.

Здесь на невиданных полянах
Как в сказке, тысячи цветов.
И воздух чистый, воздух пряный...
Хозяин встретит. Будь готов.

Покажет поле, грядки лука,
Достанет квас из погребка.
И улетит куда-то скука,
И улечется тоска.

А это всё на сердце ляжет,
И прикипит на долгий срок.
И как-то легче станет даже
В преддверье будущих дорог.

* * *

На Белом озере оркестр
Играл «Прощание славянки».
И не было на лавках места,
И утихали перебранки.

И летний тот кинотеатр,
И скрип дощатый за спиной...
Меня преследуют утраты.
Утраты жизни золотой.

* * *

О чём я говорил?
О чём я думал?
Всё скроется в дали,
Печальный сумрак.

И эти времена.
И эти сроки.
Стирают имена
И мир далёкий.

* * *

Белый бархат и тополя,
Белый пушистый бархат.
Я вышел сегодня сюда не зря,
Пройтись по аллеям парка.

Меня овевает и сторожит
Великая тайна эта.
Мелькают снежинки, словно стрижи,
Не видно белого света.

* * *

Чем продолжительней молчанье,
Тем удивительнее речи.
Хрустальный облик твой сличая
Из первой и последней встречи.
Мы замыкаемся в природе,
В снежинках, в капельках дождя.
И это длится вечно вроде,
А может быть, и длится зря.

Ведь не одни же расставанья
Нам предстоит преодолеть.
Верните женщине свиданья,
Не важно, что там будет впредь.

* * *

В эти дни мы подолгу молчали.
Как мучительны были те дни.
Они стали как вестник печали,
Той, которая горю сродни.

Мы не знали, что нас ожидает
На далёком, казалось, пути.
И какие тревожные дали
Нам придётся по миру пройти.

Может, это и будет итогом
Бесконечных обид и утрат.
А хотелось поведать о многом,
Лишь потом оглянуться назад.

Николай Дорошенко

РАССКАЗ О НЕНАПИСАННОМ РАССКАЗЕ

Сочинителем я оказался с малых лет. Хотя об этом и не догадывался. То есть, едва научился я говорить с должной бойкостью, сразу стал всех атаковать подробными пересказами якобы услышанных мной историй про лошадей и собак или, например, про некую кошку, которая на самом деле была не кошкой, а, допустим, ведьмой. Старший брат пытался уличить меня во вранье. «Да сроду никто такого не слышал у нас», – заявлял он. Мать принималась защищать меня: «Мало ли что бывает! Пусть рассказывает!». У отца же мой бесконечно фантазирующий сочинительский дар вызывал жалостливое ко мне недоумение.

А вот наш сосед Максимыч, с войны хромой и одинокий, предоставлял моему раннему вдохновению полную свободу. И мы с ним сошлись. Едва он появлялся у себя во дворе или на огороде, я мчался к нему. И начинал о чём-то рассказывать. А он слушал. И даже задумчиво поддакивал мне: «Да... Ох, Боже ж мой... Ух, как же оно повернулось...».

И я уже не мог остановиться. Максимыч шёл по воду, а я – рядом с ним. Он шёл в дом, я – за ним. Он ложился на лавку передохнуть, а я присаживался рядышком на табурет.

Лишь в редких случаях он прерывал меня, давал трёшку и просил: «А доскачи-ка до магазина, а потом доскажешь...». Я, как марафонец, устремлялся к магазину. Там толстая и глазастая продавщица спрашивала у меня: «Это Максимыч тебя опять прислал?». «Максимыч», – признавался я. «Тогда я на сдачу дам конфет, а не папирос!» – важно принимала она решение в мою пользу. «У него нога болит!» – защищал я Максимыча, хотя и от конфет отказаться не мог. Но даже эта вечная интрига продавщицы против Максимыча не мешала ему оставаться почитателем моего сочинительского таланта. «А-а, – утешал он меня, – твои такие годы, что без конфет ты не проживёшь, а у меня и самосад есть!»

От водки у него глаза сначала сощуривались, затем слушал он меня уже зажмурившись, затем, объявивши, что сквозь сон слушать меня ему особенно приятно, он засыпал. А я, конечно же, вынужден был ретироваться.

Однажды к моим родителям пришла учительница, чтобы записать меня в школу. «Сколько будет к единице прибавить два?» – спросила она у меня очень строго, когда узнала, что брат и сестра уже научили меня слагать и вычитать. «Трли!» – ответил я торжественно и, не утерпев, похвастался: – А ещё я читать умею!» «Ну-ка прочти вот здесь!» – приказала учительница. «Букварль!» – выпалил я. «О-о, – сокрушённо сказала моей матери учительница, – придётся везти его в поликлинику. И там пусть ему уздечку под языком удалят. Иначе он будет всю жизнь картавить!»

Школьные учителя тогда пользовались столь непререкаемым авторитетом, что отец, до этого на мою картавость не обращавший особого внимания («Все они сначала то картавят, то шепелявят, а потом же и перестают!»), принял решение отвезти меня в поликлинику уже на следующий день. А я отнёсся к этой новости как к самому главному в своей жизни событию.

Дело в том, что мой старший брат, который в райцентре побывал уже не один раз, рассказывал мне, что там можно купить и съесть «мороженное», похожее на сладкий снег. «А почему же ты мне не привёз ни разу?» – не поверил я. «Да потому, что его надо съесть очень быстро! Иначе оно растает и будет похоже на обыкновенное молоко, только сладкое!». «А ты поклянись, что про снег не придумал!» – продолжал я не верить. «Клянусь же тебе чем угодно!»

И я мечтал побывать в райцентре. Потому что, если бы выяснилось, что про сладкий снег брат соврал, то я бы, может быть, всё равно обрадовался. Потому что брата, вечно старшего, смог уличить бы не только в чудовищной лжи, но даже и в клятвopеступлении.

Утром, пока отец готовил велосипед к очень уж дальней нашей поездке, я, тщательно умытый, одетый в новую рубаху и в не дырявые штаны, отлучился со своего двора к Максимычу. «Ты, что ли, жениться собрался?» – удивился он моему нарядному виду. «В поликлинику меня везут!» – похвастался я. «И что у тебя заболело?» «Уздечку под языком будут удалять!» «О-о-о! – похвалил он меня. – Как же все тебе завидовать теперь будут!» Пытаясь понять, почему мне будут завидовать, я потрогал пальцем у себя под языком и только теперь впервые встревожился: «А не больно будет?».

И тут на Максимыча что-то нашло. Оглядев меня с ног до головы, он вдруг сказал: «Боюсь я только, что это не уздечку, а язык тебе будут отрезать!». Я изучил его хитро сощуренные глаза и не поверил: «Ты обманываешь!». «А посуди сам: как ты в школу пойдёшь, если не умолкаешь ни на минуту? В школе положено не самому болтать, а учительницу слушать!»

И в этот миг меня позвала мать. Максимыч только-то и успел шепнуть мне на ухо: «А на самом деле ты ничего не бойся, это я так шуткую...».

Но сядил я на специальную дощечку, которую отец надёжно прикрепил к велосипедной раме, уже в некоем замешательстве.

«Ты потихоньку езжай, а то я буду переживать!» – строго-настрого приказывала отцу мать. «Тебе б только переживать!» – привычно успокаивал он её.

И этот их обыкновенный разговор вроде бы как меня успокоил.

А скоро наше село осталось далеко позади, и мы поехали по простору. Вдоволь нагнав себя по сторонам, я вздохнул, принялся рассказывать отцу чистую правду о том, как брат чуть не поймал хорька на петлю из волоса, специально выдернутого из лошадиного хвоста.

«Сроду хорёк к вашей петле не приблизится, он по запаху её почувствует», – не поверил отец моей чистой правде. А я, привыкши к его вечному недоверию к моим рассказам, даже и досады не испытал.

Часа через два пути въехали мы и в райцентр, оказавшийся таким же, как наше село, только большим.

Потом, изрядно уставшие, мы отдыхали в приятной прохладе поликлинического коридора.

Наконец нас позвали к врачу. Я весьма смело вошёл в кабинет. Пока врач делала какие-то записи, оглядел её холодненько посверкивающие металлические инструменты.

«Ты не бойся, – сказала мне врач и очень уж ласково улыбнулась. – Я только чикну чуть-чуть, а ты ничего не заметишь... А пока поиграйся, вот коробочку я тебе дам какую красивую...»

Коробочка из-под лекарств у меня превратилась в машину. И, проехав по краю стола, я опустился на пол. Далее машина моя догудела до двери. А опомнился я только тогда, когда пролетал меж густющих кустов большого поликлинического парка. «Коля! Где ты!» – доносился до меня жалобный, полный испуга голос отца. Но в кустах просидел я до тех пор, пока его голос, то приближаясь, то удаляясь, не перестал быть слышным.

И мне стало отца так жалко, что даже слёзы через нос у меня потекли. Размазывая их по всему лицу, я шептал: «Ага... Не ему-то больно будет...». А вспомнив всё-таки очень уж ласковое лицо врачихи, я ещё сильнее засомневался в вероятности отрезания моего языка. Но, опять же, представить, как чикнет она по уздечке, и как я не закричу от боли, мне было невозможно.

Пока слёзы в моем носу высохли, я стал понимать, что домой уже не вернусь. И самым для меня нестерпимым было то, что уже все будут плакать и меня искать. И, полный отчаянья и неразрешимых противоречий, я сначала стал глядеть в сумеречное, без травы и к жизни совершенно непригодное пространство под густыми зарослями сирени, а затем бежочком устремился в просвет, сквозь который виднелась ближайшая улица. А по этой улице я затем шёл и шёл неизвестно куда.

И через какое-то время навстречу мне попался грузовик, который, впрочем, не проехал мимо, а резко затормозил. «Иваныч! – услышал я голос водителя. – Ты ли это?» «А то ж...» – отозвался я с отчаяньем. «А если это ты, то что тут делаешь?» «Гуляю я тут! Что, нельзя мне уже и погулять тут?» – я чуть было опять не расплакался от обиды на слишком уж весёлого шофёра. «А почему один гуляешь в такой далечине?» – опять не поверил он.

И не успел я рассказать, что на самом деле со мною приключилось, водитель своею ручищею подхватил меня в кабину. «Но теперь будем искать твоего отца, а то разрыв сердца у него сотворится!» – объявил он решительно. И тут уж я слезам дал полную волю.

Отца мы увидели прежде, чем шофёр принял решение о том, в какой стороне его надо искать.

С лицом, с которого и глаза, и нос, и рот с перепугу словно бы расплзлись в разные стороны, отец мчался на велосипеде очень быстро. А увидев меня, уже вылезшего ему навстречу из кабины, вмиг поскукнел и поехал помедленней.

«Я согласен резать уздечку...» – пролепетал я, когда отец остановился чуть в стороне от нас. Но он, даже не взглянув на меня, достал из кармана платок и принялся протирать свою взмокшую шею. А покончив с этим, он скуповато приказал: «Всё! Садись на раму и поехали домой!». Шофёр предложил: «Иван

Григорьевич! Я тоже домой еду! Кидай велосипед в кузов, и садись в кабину!» «Пожалуй что и сяду, – согласился отец. – А то аж колени трясутся, так накатался я тут по всему посёлку».

По дороге домой шофёр рассказал моему отцу всё то, что от меня услышал. А отец, внявши его присказкам («Григорич, это ж хлопцы, они ж должны уметь за себя постоять!»), лишь молча прижал меня к своему всё ещё горячему животу.

А дома он сам рассказал о нашем приключении моей матери и всем остальным. Мать потерянно гладила меня по голове.

Чтобы хоть как-то оправдаться, я сознался: «Я думал, что врачаха язык отрежет...». Мать стала ругать Максимыча: «Небось это он тебе наплёл!». Но я Максимыча не стал выдавать.

Вечером же, когда мы отужинали, мать спохватилась: «А почему наш Коля молчит? Ты бы рассказал, что видел там в райцентре?». Я вспомнил мёртвые сумерки под кустами сирени, и мне даже теперь показалось, что под кустами этими невидимо пряталось вместе со мною нечто совсем уж жуткое (даже запоздалые мурашки при мысли об этом чудище пробежали у меня по спине), но не знал, с чего начать этот свой, может быть, уже самый страшный рассказ. Потом даже и старший брат ко мне пристал: «Ну-у-у, хотя бы про то, как в кабине ехал, ты расскажи!». Но ничего у меня уже не придумывалось.

А на следующий день позвал меня к себе Максимыч. И повёл к себе в дом. Там у него на столе рядом с нераспечатанной чекушкой располагался огромный, из газеты, куль с конфетами и пряниками. «Угощайся!» – предложил Максимыч, виновато взмахнув рукой.

Я, не мешкая, приналёг сначала на конфеты. Потом стал их поедать вприкуску с пряниками.

– Ты бы передохнул и рассказал что-нибудь, – попросил Максимыч. – А конфеты твои никогда не пропадут!

Отдышавшись от его слишком уж щедрого угощения, я принялся с превеликим старанием настраиваться на рассказ. Но – в голове у меня было пусто.

– А можно, я потом расскажу? – пообещал я.

Однако так само получилось, что с той поры рассказов от меня уже никто не услышал.

Сначала это всех не на шутку встревожило. Потом даже Максимыч стал привыкать к случившейся во мне перемене.

– Ты заходи, – просил он меня. – Посидим мы, как два сурьезнейших мужика, хотя бы и молча...

Помню, как однажды на пасхальное разговение, весьма отяжелев у нас за праздничным обедом, позвал он меня, уже школьника, «немножко попомогнуть».

– Без тебя я радио попробовал включить, а в нём, наверно, проводок отошёл... Тоже ведь умолкло!» – пожаловался он, когда мы вошли в его избу, и сразу улёгся на свою лавку.

В тишине я впервые по-настоящему разглядел на его простенке широкую да чёрную тарелку радио, увидел давно поржавевшие, но пока ещё бойкие ходики,

увидел фотографии за мутными стёклами рам, затем увидел сиротливый цветок «семейной радости» на подоконнике, ножную швейную машинку «Зингер», лежанку, накрытую для красоты давно выцветшим лоскутом ткани...

Пучок света сочился сквозь щель между занавесками, укромно рассекал комнату пополам и упирался в покрывало на лежанке...

И так же укромно дышал уснувший Максимыч...

И кусок кулича лежал на столе точно так же неприкаянно, как и Максимыч на своей лавке...

И маленькие цветочки «семейной радости» не просто розовели на подоконнике, а вроде бы как вместе со мною и на солнечный луч, и на всё, что в комнате тихонечко затаилось, глядели...

Я впервые в своей жизни сидел вот так смиренно и тихо, – даже не пытаюсь понять, зачем сижу, долго ли буду сидеть и смогу ли прожить всю свою жизнь вот так сидючи...

Впервые в жизни мне было не только грустно, а даже и вроде бы как вполне хорошо в своём одиночестве.

И ещё, наверно, мне было так грустно и так нестерпимо хорошо, что я даже и не помню, как оказался дома.

...А через много лет, уже будучи студентом Литературного института, я вспомнил и ходики, и покрывало на лежанке, мерцающее под тонким и беззвучным лучом...

И показалось мне, что если сумею написать о том, как когда-то тихонечко сидел я рядом со спящим Максимычем и глядел на лучик света, то это будет, может быть, самый драгоценный во всей мировой литературе рассказ.

Почему самый драгоценный – не могу объяснить.

Но до сих пор рассказ этот у меня не получился, хотя его написать я пытался много раз.

Но зато всегда, как только я присаживаюсь к своему сочинительскому столу, то сразу же словно бы погружаюсь в ту уютную и счастливую дрему, которую впервые испытал в тот миг, когда впервые у Максимыча молча огляделся по сторонам.

А иногда мне кажется, что если б однажды рассказ этот у меня получился, то ничего другого я бы уже не написал. Потому что ушла бы та самая драгоценная тайна жизни, бесконечно разгадывая которую, мы вдруг начинаем понимать многое прочее, – то, о чём, может быть, никогда и не задумываемся.

Ирина Неклюдова

**Васькин квас, или
Село Семилужное встречает Цесаревича**

*Одноактная пьеса в семи картинах
(сокращённый вариант)*

ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ: 4 июля 1891 года.

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ: село Семилужное Томской губернии, близ г. Томска.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

В а с и л и й, крестьянин, 32 года.

М а р и ш а, крестьянка, 30 лет.

Н а с т е н ь к а, их дочь, 12 лет.

Л у к а, сосед Василия и Мариши, 33 года.

М а р ф у ш а, его жена, 29 лет.

П е т я, их сын, 11 лет.

К у з ь м а, житель соседней деревни, 29 лет.

Цесаревич Николай Романов, 23 года.

Князь Ухтомский Эспер, 29 лет.

Адъютант Цесаревича.

Томский губернатор Тобизен, 46 лет.

Томский волостной староста.

Староста села Семилужного.

Звонарь Павел, 19 лет.

М а с с о в к а.

Чуть левее сцены, в глубине – церковь, украшенная цветами и гирляндами из пихты и ели. Левее церкви – небольшая комната. Чуть правее сцены – гостевой дом Цесаревича с балконом. Дом украшен пихтовыми гирляндами, флагами с символиками Российской империи, царской фамилии и Томской губернии. Справа вдали – крутой овраг, под которым протекает ручей. На заднике сцены – деревенский пейзаж: дома и зелёные поля, убегающие за горизонт. По центру сцены стоит накрытый скатертью стол, уставленный дикоросами и соленьями с крестьянского огорода.

Картина первая. У гостеприимного стола

Вторая половина дня. За столом стоит Настенька. К ней подбегает с корзиной Василий. В корзине три четвертных бутылки по три литра каждая, на которых углём написано «Васькин квас».

В а с и л и й. Доча, спрячь быстрее, пока мать не схватилась. Нашёл-таки я свой рецепт! Праздник у меня сегодня! *(Василий наклоняется за стол и ставит две бутылки на пол. Одну берёт себе.)* А это – для старосты! Вот обрадуется! *(Настенька задвигает бутылки подальше под стол.)* Молодец, дочка! Сметливая! А-а... была не была *(Василий прячет и третью бутылку)*, ничего для Его Высочества не жалко!

К ним подходит Мариша. Она одета опрятно, но скромно. В её руках красивое блюдо, накрытое вышитым полотенцем, на котором свежеспечённый ржаной, вкусно пахнущий каравай. *(Запах свежеспечённого хлеба должен растекаться по залу.)* На корочке кривыми буквами – надпись «Васин хлеб». Мариша подходит к столу. Ставит хлеб на стол. Вытирает рукавом лоб. Василий наклоняется к караваю, шевеля губами, пробегает взглядом по надписи, облегчённо вздыхает, вдыхает пряный аромат, целует жену в щёку. Та отмахивается.

М а р и ш а *(сердась)*. Успел-таки хлеб подняться да испечься, несмотря на твои шалости! И как ты, охальник, посмел буквы свои корявые наляпать?

В а с и л и й *(гордо)*. Налепить...

М а р и ш а. Да не налепить, наляпать! *(Бьёт его в сердцах.)* Чуть не испортил всё! Тесто бережного касательства требует! Тесто – живое, оно дышит, пока поднимается... *(Дразня.)* Грамотей! Васин хлеб... Какой же он Васин? Написал бы уж тогда Семилуженский. С нашей ржи испечён, на наших полях выращен!

В а с и л и й *(чешет затылок, проговаривая по слогам)*. Се-ми-лу-женский... Это сколько ж букв! Не-е, Васин хлеб – лучше. *(Гордо.)* Хочу, чтобы Его Высочество знали, чей хлеб попробовать будут!

К столу подходит разряженная супружеская пара. Марфуша лузгает тыквенные семечки, Лука щёлкает кедровые орешки. Оба внимательно разглядывают, что на столе.

Л у к а *(с укором)*. Гляди, и сало поставили! Не жирно будет на жаре-то?

М а р ф у ш а *(завистливо, ехидным тоном)*. Зря стараетесь. Не будет Его Высочество со свитой здесь проезжать, а уж тем более останавливаться. Всем сказано у развилки дорог быть. Там Цесаревича встречать будем.

Л у к а. Да не на развилке, а у церкви. Вечно ты всё путаешь.

М а р ф у ш а. А зачем наш Петька на развилку побежал?

Л у к а. Чтобы глашатаев раньше всех встретить!

М а р ф у ш а. А-а-а. *(Василию и Марише.)* Поняли?

М а р и ш а *(искренно)*. А вдруг да остановится у нашего стола... *(Жалостливо.)* Проголодался небось *(тёплым голосом)* сердечный.

М а р ф у ш а *(злобно)*. Надеемся, надеемся...

Л у к а. *(сплёвывая скорлупу)*. Надежда умирает последней...

М а р ф у ш а *(с вызовом, сощуриив глаза, руки в боки)*. А каравай-то кривой!

В а с и л и й. А ты на наш каравай рот не разевай!

М а р ф у ш а. Настенька такая красивая сегодня – не узнать! Бледненькая только. Что, опять мамке с папкой допоздна помогала?

В а с и л и й *(простоудушно, не чувствуя обиды, наклоняясь к дочке)*. Настенька, беги в дом да щёки свёклой натри.

Девочка стоит как вкопанная, никуда не уходит, трёт рукавом щёку. Щека становится красной.

М а р ф у ш а (*ехидно, еле слышно, мужу*). Протирай не протирай, рожей не вышла. Только Цесаревича пугать...

Л у к а. (*незаметно подмигивая, толкает Василия*). У них в свите, говорят, баб-то нет!

М а р и ш а (*испуганно-заботливо*). А кто ж им исть готовит?

Л у к а (*размеренным тоном*). Баба в дороге – токмо к раздору.

В а с и л и й (*сомневаясь*). Правильно.

М а р ф у ш а (*возмущённо*). Чё правильно? Много ты понимаешь!

М а р и ш а (*мирно*). Наши бабы сибирские и воевать, и любить умеют.

М а р ф у ш а. Не мы ли по весне волков от деревни отбили, пока вы по лесу их гоняли? (*Показывает, как отбивали волков, словно у неё в руках палка.*)

Л у к а. Это ты-то? Волков гоняла? Или чай? (*Показывает, как жена гоняет чай – карикатурно расставляет пальцы, словно они держат блюдце.*) (*Женским голосом.*) Ай, обожглась! (*Расставляет пальцы другой руки, осторожно, выгнувшись всем телом, перекладывает блюдце. Карикатурно выпятив губы, дует на несуществующий горячий чай.*) Ах, до чего вкусно!!!

Слышен красивый церковный звон одного большого колокола.

М а р ф у ш а (*якобы торопясь*). Благовест уж. Всё, в церковь пора... Богослуженье скоро.

Л у к а (*шёпотом, жене*). Не завидуй, жена, и на нашей улице праздник будет...

М а р ф у ш а. Ага-а... Надеюсь и жду...

Лука и Марфуша уходят, лузгая семечки и щёлкая орехи.

М а р ф у ш а (*поёт*). Семилужное село, ох, историей сильно! Проходила здесь граница государства самого!..

М а р и ш а (*мечтательно*). До чего ж красив звон колокольный, заслушаешься...

В а с и л и й (*серьёзно*). Сегодня особенно. Старается звонарь наш Пашка. Ишь, выводит... Одним колоколом такие чудеса творит...

М а р и ш а (*мечтательно*). А когда во все колокола играет, словно в небо взлетаешь... Столько силы даёт...

В а с и л и й (*серьёзно*). Мечтай не мечтай, без крыльев не взлетишь... (*Обнимая жену.*) Ангел ты мой чистый... Однако и нам идти пора... (*Дочери.*)

Ну, доча, на тебя одна надёжа. Остановится Цесаревич если, щедро всем со стола угости... Будь гостеприимной и ласковой...

М а р и ш а (*с сомнением*). Будет он останавливаться, как же!

В а с и л и й (*нападая*). Чего ж ты тогда хлеб старалась пекла? Встала рано, ни свет ни заря! (*Смиренно.*) На всё воля Божья! (*Крестится, далее говорит, словно спохватывается.*) Дочка, не забудь Государя Наследника Цесаревича кваском холодным угостить! Поняла?! (*Настенька согласно кивает головой.*)

М а р и ш а (*насмешливо*). А квасок-то где, голова твоя бедовая?! Опять забыл?

Мариша кладёт голову на плечо мужа, обнимает его. Крутит пальцем у его виска так, чтобы он не видел. Василий в это время смотрит на дочь. Настенька испуганно оглядывается вокруг, с подозрением глядя на зрителей. Показывает кому-то кулак. Потом резко приседает, заглядывает под стол. Поднимается, с облегчением крестится; незаметно показывает отцу жест руками, означающий, что всё хорошо.

В а с и л и й. Да, дочка, на корову рублик попросить не забудь...

М а р и ш а (*поднимая голову, с укором*). Да уж на рублик-то не больно разживёшься. На козу разве хватит...

В а с и л и й (*спокойно*). Не ворчи, жена. Много нас у государя. На всех рубликов не напасёшься... (*Мечтательно*.) А нам, может, и повезёт... Кто верит, к тому удача так и липнет! (*Заглядывая в глаза жены*.) Ты собаку-то в бане закрыла?

М а р и ш а (*отмахиваясь*). Да рано ещё. Договорились с бабами потемну. Как Наследник Цесаревич в баньке-то жаркой помоемся, пыль дорожную смахнёт, отдыхать пойдёт, так и закроем. Чтoб не слышен лай семилуженский был до утра. Собаки-то наши голосистые, что бабы! (*Жалея*.) Пушай выпится, родимый... Дорога-то длинная. (*Восхищённо*.) Это ж надо – через весь мир проехать!

Василий и Мариша спешат уйти, но оба смотрят по сторонам деревни. (*На большом экране или на заднике сцены в виде слайдов или фильма зрителям показывается село Семилужки*.) Местность села холмистая. Дома тянутся до бесконечности, то исчезая за холмами, то выскакивая крышами. Вдали – лес. Между холмами – озеро.

В а с и л и й (*мечтательно*). Да, необъятна Русь-матушка. (*Раскидывает руки по сторонам, крутит корпусом*.) Вот бы и нам посмотреть...

М а р и ш а (*укоризненно*). Да ты в соседнюю деревню доехать не можешь (*обращаясь к зрителям, протягивая к ним руки*), уж сколько прошу.

В а с и л и й (*с превосходством*). Ха, так то по делу, в мастерскую. (*Рассудительно*.) А ежели просто страны диковинные увидеть? (*Далее шуточно говорит, хватая, обнимая жену*.) Баб чужестранных пощупать...

М а р и ш а (*довольно улыбаясь, сначала прижимается к нему, потом игриво пытается вырваться, но обнимает его сама крепко*). Охальник (*подевичьи капризно*)... Вот пожалуйсь Его Высочеству. Будет тебе рублишко на коровёнку...

В а с и л и й. Однако нам будет. В одной связке мы с тобой, Мариша.

Как только родители уходят, Настенька достаёт осколок зеркала. Смотрит на себя оценивающе. Плюёт на зеркальце, протирает его об одежду. Поправляет волосы. Вставляет в косу полевой цветочек. Смотрится ещё раз. Улыбается себе довольно.

Картина вторая. У церкви

Василий и Мариша подходят к нарядной церкви, оглядываются вокруг. Звон колоколов всё разнообразнее и сильнее. Вокруг много людей, разных по возрасту и по положению. Взрослые, дети. Все воодушевлены и взволнованы предстоящей встречей.

В а с и л и й. Глянь, как купцы наши постарались. Глаз не отвести.

М а р и ш а. Куфтерины, что ль?

В а с и л и й. Они самые. Эти своего не упустят. Деловые.

М а р и ш а. Дом такой отгрохали! За три дня! Да с пристройками.

В а с и л и й. За деньги и я тебе хоть что построю. Жёнушка, дай 10 копеечек, душа просит...

М а р и ш а. Вот бессовестный! Как можно?!

В а с и л и й. Да я ж после, не сейчас...

М а р и ш а. Дорожка-то ковровая какая длиннющая, я и не видала такую сроду!

В а с и л и й (*завистливо*). Да, обогатятся потом купчики, лоскутки продавая... (*Торжественно поднимая палец.*) Как же – сам Государь Наследник Цесаревич по дорожке красной хаживал!

М а р и ш а (*возмущённо сердясь*). Ну и выдумщик ты у меня! (*Обращаясь к зрителям.*) Да как только такое в голову прийти может?! (*Стуча пальцем мужу по голове.*) Откуда ты эти мысли берёшь?.. (*Спокойно объясняя.*) Куфтерины, если и сами зарабатывают, то и с другими щедро делятся!

В а с и л и й (*в глубокой задумчивости*). Да-а, поэтому, говорят, к ним копейка и липнет...

М а р и ш а (*спокойно*). И дорожка эта как память храниться будет у кого-нибудь в доме...

В а с и л и й. Да их дело! Нам-то что...

Картина третья. У оврага и под оврагом в ручье.

Лука и Кузьма, стоящие отдельно от других на краю крутого оврага, спорят.

Л у к а. Ты из соседней деревни, вот и молчи, раз в гости пришёл. В наши Семи-луж-ки!

К у з ь м а. Вот именно, не семь лугов у вас, а семь луж! И баб красивых нет, кроме кривых Марфуш!

Л у к а. Что ж ты на мою Марфушку поглядываешь до сих пор?! Почему обнимаешь при всех?

К у з ь м а. Да показалось опять!.. Как ты достал меня, Лука! Держи кулак наверх!

Кузьма толкает Луку, и оба они кубарем скатываются с крутого обрыва вниз. Внизу протекает ручей. Лука и Кузьма барахтаются в воде. Поднимаются мокрые, на них клочками висят стебли оборванных растений.

Л у к а. Холодная водичка! Бр-ры... Погоди (*упирается руками в Кузьму, тяжело дышит*), отомщу! Вспомнишь кузькину мать!

Лука наклоняется, поднимает камень, замахивается на Кузьму.

К у з ь м а (*глядя на камень*). А-а-а... дай поддержать! (*Кузьма пытается отобрать камень.*) Моё!

Л у к а. Погоди, будет сейчас твоё – как впечатаяю между глаз!.. (*Отпихивает*

Кузьму, смотрит на камень.) Самородок?! Золото?! А ведь сколько лет ищут! Всю речку перерыли. Вот спасибо Цесаревичу! Сроду бы не узнали!

К у з ь м а. Не вдали предки-то... Разбогатеет теперь...

Л у к а. Ага, как Куфтерины... Надо Цесаревичу самородок подарить, а он нам за это – разрешение и денег на открытие прииска даст!

К у з ь м а. Не даст!

Л у к а. Даст! Его Высочество щедрый и об народе заботится. *(Кузьма нападает на Луку. Они дерутся.)* Проворонил, ворона! Богатство упустил... *(Лука разводит руками, но раздувшийся карман его выдаёт).*

Кузьма *(пристукнув по карману Луки)*. Про это место молчок... Сами тайком мыть будем! Ручей глубокий, не догадаются...

Л у к а *(мечтательно, дразня Кузьму)*. Будет теперь моя Марфуша барыней ходить.

К у з ь м а. Ага, ты ещё ей расскажи...

Л у к а. Может, и скажу.

К у з ь м а. Да разве бабам доверять можно?.. Ваши семь луж...

Л у к а. Ты что – слепой? Где ты лужи видишь? У нас – луга!..

Лука топает ногой, брызги летят во все стороны, в том числе и на зрителей. Кузьма и Лука сцепляются и начинают кататься по ручью.

Картина четвёртая. У гостеприимного стола

Звучит красивый перезвон нескольких колоколов. Вдруг Настенька подскакивает, тыча указательным пальцем на дорогу. Слышен топот копыт, фыркание лошадей, приказ остановиться.

Г о л о с и з - з а к у л и с. Стой!

Из-за кулис с правой стороны сцены на секунду показывается морда лошади. На сцену выходит Цесаревич в сопровождении свиты.

Ц е с а р е в и ч Н и к о л а й. Пешком пройдемся, послушать перезвон хочу. *(Обращаясь к Тобизену.)* Хорошо у вас, Герман Августович! Воздух какой особый! Чистотой, Русью наполненный! Кедровник рядом? Дышится легко!..

Т о м с к и й г у б е р н а т о р Т о б и з е н. И кедровник, и много чего... И родник рядом течёт. «Царским» народ называет. Уж больно водичка хороша!

Ц е с а р е в и ч Н и к о л а й. Значит, отведаем. Коль душа запросит.

Т о м с к и й г у б е р н а т о р Т о б и з е н. Ваша правда, Ваше Императорское Высочество! Душу непременношим образом всегда слушать надо!

Пыля по улице, глядя себе под ноги, бежит Петя. Он невольно сталкивается с томским губернатором Тобизеном. Поднимает глаза. Ошарашенно всплскивает руками. Убегает с воплями по направлению к церкви.

П е т я. А-а-а... Приехали... А гонцов-то не было... Опять не на ту дорогу свернули... А я говорил – своих караульных надо ставить!

По мере удаления голос мальчика становится всё тише. Наконец его не слышно. Все смотрят ему вслед. Цесаревич с пониманием, по-доброму, улыбается.

Князь Ухтомский. В селе Семилужном здороваться умеют?

Томский волостной староста. Умеют. Они всё умеют: и ткать и жать, и пить и жрать (*спохватывается, понимая, что сказал что-то не то*), и садить и ждать... Но народ-то дикий!

Князь Ухтомский. А садыт что?

Томский волостной староста. Лён в основном, лён... (*бросает взгляд на томского губернатора Тобизена*) конопля ещё... рожь, овёс, ячмень, просо...

Томский губернатор Тобизен (*шёпотом волостному старосте*). Если что пойдёт не так, я тебя самого посажу...

Цесаревич со свитой подходит к столу. Настенька подсказывает.

Цесаревич Николай. Как звать тебя?

Настенька. А-а-а...

Князь Ухтомский. Бедная девочка, немая, что ли?

Томский волостной староста. Это она от радости, от волнения сказать ничего не может. (*Наклоняясь к девочке, грозным шёпотом.*) Чего молчишь?

Настенька стоит как вкопанная, глядя во все глаза.

Князь Ухтомский. Хлеб-соль твои можно попробовать? (*Настенька резко наклоняется под стол, её не видно.*) Ну вот, приехали. Накормили, спасибо!

Все недоуменно переглядываются. Настенька с трудом вытаскивает из-под стола тяжёлую бутылку, ставит на стол. Одним хватким движением выдёргивает пробку. Подставляет деревянную кружку, ловко наклоняет бутылку и наливает квас. Протягивает кружку Цесаревичу. Тот сначала пробует, затем всё выпивает.

Цесаревич Николай. Хорош напиток! Домашний! Ягодный или хлебный? Не пойму. Кто делал?

Настенька не отвечает. Цесаревич со стуком, звонко ставит кружку на стол. Настенька протягивает ему хлеб-соль. Цесаревич читает надпись «Васин хлеб», улыбается, отламывает кусочек. Другие из свиты пробуют хлеб и квас.

Цесаревич Николай. Спасибо, постарались... Вкусно. А хлеб, конечно, мамка пекла?

Настенька согласно кивает головой и пододвигает другую целую бутылку с квасом Цесаревичу. Цесаревич кивает адъютанту. Тот берёт бутылку. Протягивает девочке монетку.

Настенька. А рублик?

Томский волостной староста. А-а! Всё-таки умеешь говорить-то!

Цесаревич смотрит на адъютанта. Тот нехотя протягивает рубль. Цесаревич продолжает смотреть. Адъютант протягивает ещё.

Цесаревич Николай. Ну, будь здорова! Так кто квасок-то делал?

Настенька молчит, прижав деньги к груди.

Томский губернатор Тобизен (*почти про себя*). Ладно, сами дознаемся, кто этот Васька таинственный...

Томский волостной староста (*Настеньке*). Ты чего молчишь?! Вот что про всех семилуженцев Его Императорское Высочество подумает? Из-за тебя...

Цесаревич Николай. Ну что вы? Она – ребёнок. Ребёнку всё прощительно... Так как звать-то тебя?

Настенька (*улыбаясь во весь рот*). Настенька...

Цесаревич Николай. Голосок твой красивый, напевный. Держи вот на память. (*Протягивает Настеньке красивую простую брошку.*) Бог в помощь, Настенька...

Настенька. Спасибо...

Настенька с интересом разглядывает брошку, то поднеся её близко к глазам, то вытянув руку. Цесаревич смеётся.

Томский волостной староста. На грудь нацепи, дура... Дай я...

Настенька спешно прячет брошку в карман. Подбегает староста села Семилужного.

Староста села Семилужного (*запыхавшимся голосом*). Ваше Императорское Высочество, рады приветствовать! Весь народ в церкви. Как велено было.

Отовсюду к Цесаревичу и его свите бегут нарядные люди. Раздаётся звон во все колокола.

Массовка (*крича восторженно*). Ур-а-а... (*Обступили, кланяются, молятся, радуются.*)

Адъютант Цесаревича. Расступись!

Все расступаются, идут к церкви. Настенька остаётся стоять у стола. Староста села не идёт со всеми. Подходит к девочке, с подозрением рассматривая её и всё, что находится на столе. Хватает кусок сала, запихивает в рот. Жуёт. Отламывает половину колбаски, смотрит на начинку. Наталкивает в карман колбасы, сколько может впихать.

Староста села Семилужного (*говорит с набитым ртом*). А ты чего не идёшь со всеми? Боишься, добро порастацат? Так иди, я укараулю... Ты каким это квасом будущего царя-батюшку угощала? Покажь!..

Настенька накрывает широкой юбкой бутыл, стоящую под столом.

Настенька. Нету больше.

Староста села Семилужного. А ты чего дёргаешься? Что у тебя там?

Староста села заглядывает под стол. Достает бутыл. Прячет за пазуху.

Настенька. Батюшка не велел.

Староста села Семилужного. У всех у нас один батюшка... (*Шёпотом.*) Господь Бог...

Картина пятая. У церкви

Стены церкви красиво украшены гирляндами из пихты и ели. Кое-где торчат завядшие полевые цветы. Одна из женщин выдёргивает завядшие и на их место втыкает свежие цветы.

Перед церковью расстелена ковровая красная дорожка. Вдоль дорожки стоят жители. В руках цветы и транспаранты. «УРА БУДУЩЕМУ ИМПЕРАТОРУ РОССИИ», «СЕЛО СЕМИЛУЖНОЕ ПРИВЕТСТВУЕТ ЦЕСАРЕВИЧА НИКОЛАЯ», «ЕГО ВЫСОЧЕСТВУ СЛАВА».

Перед церковью стоят два прилично одетых крестьянина с хоругвью – религиозным знаменем, на котором изображён святой Николай с архангелами. За ними две женщины держат транспарант «НИКОЛАЙ, ПОМОГАЙ».

Ц е с а р е в и ч Н и к о л а й. Церковь ваша потрясающая! Много где бывал и много видел, такой нигде нет...

Цесаревич идёт по ковровой дорожке, заходит в церковь.

Картина шестая. В небольшой комнате

Староста села Семилужного. Спасибо, Господи, кажется, всё хорошо прошло. Не ударили в грязь лицом. И спасибо, Господи, что дождика сегодня не дал. А то топал бы будущий царь-батюшка не знаю как сквозь нашу слякоть. Хватит с нас Чехова прошлогоднего. (*Передразнивая.*) «...Грязь невылазная...» Барин, одним словом! Тьфу! Прости, Господи, ещё раз!.. Погоди, отомстят тебе томищи (*грозя кулаком*), вспомнят «добрым» словом!.. Найдётся какой-нибудь умелец, не даст народу забыть! (*Обращаясь к зрителям.*) А тротуары мостить который год некогда, всё время что-то мешает... Да и ни к чему они. Мы и так по грязи привыкшие... Лето короткое. Только соберёшься строить, доски напилишь, гвозди пригостишь, а тут – бац и... зима...

Староста несколько раз крестится. Вдруг открывается дверь, входит адъютант Цесаревича. Он подходит к старосте и протягивает ему 100-рублёвый кредитный билет.

А д ъ ю т а н т Ц е с а р е в и ч а. Его Высочество жертвует на церковь и повелел передать эти деньги вам.

Староста села Семилужного. Премного благодарен! Многие лета Его Императорскому Высочеству! Благодарствую от имени всех прихожан.

А д ъ ю т а н т Ц е с а р е в и ч а. Очень церковь ваша впечатлила. Художник наш, Гриценко, рисовать будет. От гнуса распорядитесь. Комары да мошка у вас тут «добрые».

Староста села Семилужного (*в раздумье чешет затылок*). Что ж, дело хорошее. Пущай рисует. Дётя берёзового нам не жалко. И дымокур устроить можем... (*Подмигивает незаметно всем зрителям. Говорит с чувством глубокого превосходства.*) А художник-то на-аш!!! В Томске родился!

А д ъ ю т а н т Ц е с а р е в и ч а (*протягивая деньги*). А это звонарю вашему особливо. Уж больно душу порадовал. Его Высочество доволен. Приглашает в трапезную.

Староста села Семилужного (*отвечает сразу, почти тараторя, но испуганно*). Наш звонарь – юноша скромный, не пойдёт он.

Адъютант Цесаревича. Это приказ. Как вы смеете отказать будущему российскому императору?!

Староста села Семилужного (*словно придумывая на ходу*). Больной он, калека... горбат... Зачем Его Высочество расстраивать?

Адъютант Цесаревича (*протягивая деньги*). Тогда держи... Вот ещё на лечение, раз калека...

Адъютант Цесаревича уходит.

Староста села Семилужного (*в глубоком раздумье*). И как же это лечить, ежели человек горбат?

У старосты в обеих руках деньги. Он смотрит то на левую руку, то на правую. Наконец один кредитный билет прячет в карман, другие деньги кладёт в ящик для пожертвований.

Староста села Семилужного. Спасибо Его Императорскому Высочеству! Значит, встретили семилуженцы на славу, постарались! ...А где квас Васькин?.. Теперь чуток попробовать можно... (*Достает и наливает немного из бутылки в кружку, опрокидывает в рот. Смачно кряхтит, приседает от удовольствия.*) Хо-ро-ша-а...Ах ты, шельма, подлец! Всё-таки сотворил свой рецептик!.. (*Восхищённо.*) Ай, молодец! А с первого глотка и не поймёшь... Крепко выспится сегодня Цесаревич... Не придётся бабам собак в банях запирать... Медовуху он подмешал туда, что ли? (*Староста наливает ещё и подносит кружку ко рту. Крестит рот.*) Прости мя, грешнаго. Уж больно охота дознаться, чего туда Васька намешал! (*Только собирается отпить, как раздаётся звук приближающихся шагов. Староста нехотя прячет кружку и бутылку.*) Никак звонарь, сынок мой родимый, спешит? Или это квас Васькин действовать начал?

Входит звонарь, красивый, высокий и статный парень.

Звонарь Павел. Батя, как я сегодня звонил! У самого душа пела! Что Его Высочество сказали?

Староста села Семилужного. Да ничего про тебя Его Высочество не сказали. Чести много будет. Дорости ещё.

Звонарь Павел. Дорасту!.. Я до таких вершин дорасту... До самой Москвы слава обо мне дойдёт, не только до Томска...

Звонарь выбегает.

Староста села Семилужного. Что-то ты, сынок, и в Томск не больно рвёшься, хотя зовут давно... И в кого такой уродился?.. (*Обращаясь к зрителям.*) А кто здесь людям российским служить будет?.. Хороший человек и нам пригодится... Где родился, как говорится... Сыно-ок...

Староста села выходит. Слышны звуки обычной деревенской жизни: лай собак, пенье петухов, крики работающих людей. Постепенно еле слышный звон колоколов становится всё громче и перекрывает все остальные голоса...

Картина седьмая. У гостевого дома цесаревича

С левой стороны сцены, держась за руки, выходят нарядная Настенька и Петя. Петя разглядывает брошку. Они останавливаются.

П е т я. Красивая...

Н а с т е н ь к а. Кто?

П е т я. Брошка...

Н а с т е н ь к а. А то, плохие подарки нам не надобны...

Петя цепляет брошку Настеньке на кофту.

П е т я. Как домой пойдём, брошку спрячь и не показывай никому.

Н а с т е н ь к а. Почему?

П е т я. А вдруг ценная? Вот я вырасту, разберусь во всём ...

Н а с т е н ь к а. Брошка эта – бесценная. Сам Цесаревич подарил! (*Весело дразнясь.*) У тебя такого нет!.. Вот я вырасту, и надо будет тебя выручать, пойду во дворец. Царь-батюшка меня сразу по брошке узнает.

П е т я. Чего это тебе вдруг надо будет меня выручать?

Н а с т е н ь к а. А бедовый ты, всегда больше всех надо. На месте не сидишь!

П е т я. Прямо к самому Государю пойдёшь за меня просить?

Н а с т е н ь к а. Пойду.

П е т я. С такой защитницей ничего не страшно!

Настенька и Петя уходят в правую кулису. Из дверей гостевого дома выходят, шатаясь, весёлые Лука и Кузьма.

Л у к а и К у з ь м а (*поют*). Васькин квас, Семилужки, все мы всем в селе дружки...

Л у к а. Да-да, а главный дружок – это староста. Вот он нам душу вынет за самородок!

К у з ь м а (*останавливаясь и испуганно хватая Луку за рукав*). Лука, а ты помнишь то место, где мы упали? Вдруг не найдём?

Л у к а (*поёт лукаво*). Васькин квас, Семилужки...

К у з ь м а (*подхватывая*). Нам не все в селе дружки...

Из-за стен гостевого дома выходит Марфуша.

М а р ф у ш а. Господи, прости меня, грешную.

Марфуша крестится и идёт за Лукой и Кузьмой. На балкон гостевого дома выходит Цесаревич, смотрит вдаль. Следом выходит князь Ухтомский, ставит на перила бутылку «Васькин квас».

К н я з ь У х т о м с к и й (*глядя на удаляющихся Луку и Кузьму*). Вот работнички... Просят разрешения на прииск, а сами между собой договориться не могут. Но самородок хорош! Щедры Вы, Ваше Высочество. Кажется, они довольны. Не пропили б только.

Ц е с а р е в и ч Н и к о л а й (*смотря вдаль*). В России довольных не бывает... Хорошо мне, вольготно тут. На душе легко... Не случайно икона чудотворная Николая святого, защитника моего небесного, именно здесь объявилась...

Словно не в маленьком селе я, Эспер, нахожусь, а на просторах российских. Европу и Дальний Восток проехал, ничего лучше родины нет!

Князь Ухтомский. Всё здесь созвучно, даже моя фамилия: Томский – Ух-Томский! Хотя томский у нас Николай. Всё рисует. Как рука не устанет.

Цесаревич Николай. Когда душа поёт, усталости нет... Дом гостевой – уютный, деревом свежеспиленным пахнет, смолой. Чувствуется, с большой любовью сделан. Наличники резные, стол фигурный.

Князь Ухтомский. Заказать желаете? Во дворце такого нет.

Цесаревич Николай. Подумаем.

Князь Ухтомский. Говорят, купцы Кухтерины в три дня уложились.

Цесаревич Николай. Всё у нас делается в последний момент... Приедем в Петербург, закажу шампанское «Абрау-Дюрсо» напополам с нашим! русским! квасом!..

Князь Ухтомский. Хлебным или московским?

Цесаревич Николай (*смеясь*). Сибирским!.. Родник их хорош! Вот где золото настоящее – в воде ключевой!

Князь Ухтомский. Васька этот – не промах. Смекалист и смел. Каравай его не забуду. Буквы кривые. Поди, тайком от жены налепил... Такие везде успеют... Настенька, дочка – смешная, трогательная...

Цесаревич Николай. На каждой семье Россия держится! Бог нам в помощь... Помолимся... За просторы наши российские, необъятные; за людей добрых, отзывчивых, за великую и вечную страну под названием Русь!

Звон колоколов.

Занавес

Николай ХОНИЧЕВ

БАЙКАЛЬСКИЕ МОТИВЫ

СИБИРЬ ВОРОБЬИНАЯ

В свежем утреннем доме
В окна смотрит заря.
Мне в древесной ладони
Встретить бы снегиря.

Музыкальные брызги
Воробьиной росы.
Воробьиные визги
Городской полосы...

Снегири крайне редко
В город жаждут полёт.
В мегаполисной клетке
Мало видов живёт.

Воробьиные в мире
Сверкают года.
В воробьиной Сибири
Растут города.

Музыкальная влага
И птичий мотив.
Влажный палец. Бумага.
Капля пискнет: «Чив-чив».

ПОЕЗДКА НА БАЙКАЛ

Ни комарика, ни мошки.
Красота. Байкал. Июль.
А с рассвета осторожно
Над водой возникнет тюль.

Набирает силу солнце –
Будет ясная вода.
Нерпа к небу повернётся
Сытым брюхом. И тогда

Поплывёт кораблик малый
И рыбак блесну швырнёт.
И загадочные скалы
Бриз к беседе позовёт.

Будут галечные камни
В бухте Бабушка круглы.
Бирюзово-синей тканью
Нити влаги у скалы.

Неба и волны касаясь,
Чайки с криком на лету...
И с горы большой спускаюсь
Я с изюминкой во рту.

БОГОРОДСКАЯ ТРАВА

А в Листвянке коза да на горке пасётся,
Потихоньку жуёт травяные слова.
А в Песчанке, поближе к июльскому солнцу,
Богородская мелкая чудо-травка.

Я её соберу понемногу. На память.
Просто – мелкий чабрец, просто – мелкий тимьян.
Я её заварю, чтоб давленье ослабить.
Ведь от солнечных взрывов пред взглядом – туман.

Много ль надо поэту – байкальская сила
Чтоб подольше в распахнутых клетках жила.
Чтоб трава богородская сердце хранила
И здоровье с собою надёжно несла.

БАЙКАЛ

По байкальскому по пресноводному тракту
Мы от бухты Песчаной плывём на Ольхон.
Будет хариус белый буль-бульною тропкой
Плыть. И хариус чёрный рванётся вдогон.

Вот скала Малый Колокол, бухта Синичка,
Бухты Бабушка, Дедушка, Внучка, вода...
Будут дни пресноводные ласково сниться
И мечта, словно омуль – приехать сюда

Ещё раз. Как распахнут Байкал, как укромен...
Сколько помнит вода языков и любви.
И пронзительный холод её непреклонен -
Не грязни чистоту. Темноту не зови.

Голомянка-рыбёшка работой упорной
Будет ночью и днём приближать рыбий бал.
Будут хариус белый и хариус чёрный,
Словно зло и добро, санитарить Байкал.

По байкальской воде, очарованно-чистой
Корабли на Ольхон потихоньку плывут.
А у нерпы-тюленя – глаза декабриста,
Что жену потерял и в столицу зовут.

ОЛЬХОН

Камни. Костёр. И палаток цвета
Тихо меняются. Вечер.
Двигается мудрая красота.
Вспыхнули искрами речи.

И у костра – самоцветы бесед.
Споры – яростным соком.
Где-то пронзительный слышен Дассен.
Где-то – щемящий Высоцкий.

День на Ольхоне и чуткая ночь,
Как эгоизм с альтруизмом.
Сгусток энергии вырвался прочь,
Кем-то из космоса вызван.

Тут ли остался? В Шаманской скале?
Или в Байкале вельможном?
Может, он бродит – при свете, во мгле,
К влаге ползёт осторожно?

Звёзды зир в облаках куркумы
В рисовом небе плова.
Мягкое солнце сходит с горы.
Спит пресноводное слово.

* * *

Орхидея – башмачок венерин,
Или золотая сон-трава,
В майские и солнечные двери
Шлют они тычинками слова.

Как по чудо-шарику ни рыскай,
Как волненьем сердце ни тревожь –
Красивее жужелицы крымской
В мире этом вряд ли что найдёшь.

Жизнь растений с кровью травяною,
Краски насекомых деловых
Награждают нас живой водою –
Каждодневно-благодатный вихрь.

Утренняя магия Байкала...
Ждали поезд. В горы полз туман.
Словно в аметистовом бокале,
Между шпал расцвёл лиловый мак.

* * *

Я пьян байкальской влагою, когда вода невидимо
Охватит, и конечности красны.
И поутру качаются на водорослях мидии,
Наверное, как в Сен-Мало, вкусны.

Они в вине изысканном, да под вино поставлены...
О Франции я после погрузу.
А на Песчаном острове на сибирячек талии,
Когда в сосудах я Байкал ношу,

Любуюсь. Ну а озеро покашливает лодками.
Полвека – словно с чистого листа...
Мы воду пьём лучистую, волшебную, холодную,
Что память отворяет неспроста.

И песенка о Ленине, уже совсем не скользкая,
И голоса байкальских Афродит...
И детство пионерское, и юность комсомольская
Никак не могут в нас перебродить.

Прохладным темпераментом туман к утру рассеется,
Взовьётся влагой к чутким небесам.
Потом вернётся к озеру, потом дождём нацедится,
Сморозину промоет по лесам.

Смородина душистая да в термосе заварится.
Гора. Улыбка. Облако с козой...
А мидии на озере качаются, качаются,
Зовут, зовут байкальской слезой...

* * *

Переходили дни в недели.
Под вечер шум народа гас.
Мы на Байкале песни пели,
И слушала Листвянка нас.

На поезде среди китайцев
(Направо – редкие цветы)
Нас, однодневных постояльцев,
Кругобайкальские мосты

Вбирали. Очень петь хотелось.
Летели строчки над водой.
И наш единый общий голос
Записывал Байкал седой.

И даже не болят гортани...
И омульский круговорот...
Байкал. Песчанка. Звон гитары.
И Софья трепетно поёт.

МАЛАХИТ

А мудрый Урал, словно образ сквозной,
С вокзала, бодря, просквозил.
К Бажову, к Бажову ноябрьской порой
Меня привезти попросил.

Мне сказы его подарили в Баку...
И был ароматом прошит.
На первом, на жизненном берегу
Я строк познавал малахит.

Непрост этот камень, но тёплый, как шёлк.
И есть в нём кураж и игра.
Я здесь на Урале концерт свой провёл.
И ждали его мастера

Из разных профессий, из разных миров.
Но пламень бажовский светил.
Незримую чашу из песен и слов,
Как мастер Данило, творил.

В узорах судьбы малахитится речь,
Как радужный осенью клён.
Похожи рисунки нечаянных встреч,
Но угол слегка изменён.

На тонких пластинах узоры его
Не каждый возьмёт-подберёт.
И стилия «Урал» зазвучит торжество.
И цвет ароматен, как мёд.

БЕЛГОРОД

Заневестились белые горы...
И застенчивый солнечный взгляд
Глянет вслед, словно белые каллы
Золотую тайну хранят.

Я молчу – и спокоен, и ласков.
Впечатленья домой увезу.
Ярко-синие от пролесков
Ждут холмы в Монастырском лесу.

И в тиши многомудрого леса
Белый танец родившихся фраз.
Дорогая, в цветах – это детство,
Что страна неподкрашенных глаз.

Сохраняет камин благородство.
Белый крокус цветёт белым днём.
И в духовке карп белгородский.
Мы тихонько настоечку пьём.

Этот сказочный дуб многорукий,
Где обмолвился соловей.
Это детство летает по кругу –
Край густых нечернённых бровей.

Не ныряя в далёкую лету,
Ярко пишется с пением птиц,
В синих строчках пролесков легенда
По весне белгородских страниц.

У БЕЛОВСКОГО МОРЯ

У Беловского моря до трезвости пьян.
И целебны стихи, как целебен тимьян.
Как целебна черёмуха майской порой.
И в поэзии тут каждый третий – король.

Или, ежели ты поэтический князь,
То не пилишь избу, с женой разводясь.
Ты вдыхаешь ночной благородный туман.
У Беловского моря – как стёклышко... пьян.

Ты гуляешь в местах, где исчезли клещи.
Ты талантлив по-прежнему, как ни пищи.
С поэтессой весёлой, что в дупель трезва,
Обращаете в золото чудо-слова.

У Беловского моря, где ждут соловьи
Всероссийского Слова в огранке любви.
Испытав благородную, светлую дрожь,
Снова к жизни, сквозь трезвую водку, придёшь.

УСТЬ-ЧЕМ*Софье*

Капля чуда – это Усть-Чем,
Если царствует лунный туман –
Отдыхает душа от проблем,
И спокойствие сходит к нам.

Утром песню споёт воробей,
Пролетит ворона вдали.
А легенды Сибири моей
Притаились в генах земли.

Ах, какой благодатный день –
Блеск мороза, родник в лесу.
И спокойствие стили модерн
С русским стилем судьбы несусь.

Юрий МАЛЫШЕВ

ВСЁ, ЛЮБИМОЕ ДО БОЛИ

С УТРА ОПЯТЬ ГОЛОВОЛОМКА

С утра опять головолмка,
Бездарных будней суета,
А в уголке души негромко
Свистит синицею мечта.

Она пуглива, остроглаза
Среди житейских холодов,
Послушаю её рассказы
Про жизнь неведомых миров.

Ей зёрнышки стихов подброшу,
Что здесь созрели, на земле,
И легче станет будней ноша,
И мир покажется светлей.

ОГЛЯНУСЬ В СВОЁ ДЕТСТВО СЕГОДНЯ

Оглянусь в своё детство сегодня:
Огоньком освещённая мгла,
Боже мой, неужели полсотня
Между детством и мной пролегла?

А ведь будто вчера ещё сани
Моё детство шальное несли,
Не считал я ни шишек, ни ссадин,
Они сами как будто росли.

Попадало, случалось, за дело,
Слишком бойким, наверное, рос,
И нередко ребячьим уделом
Снова был мой расквашенный нос.

Оглянусь в свою юность сегодня,
И, как прежде – «была не была!» –
Натяну скакуну я поводья
И со свистом в галоп, без седла

Проскачу на едином дыханье,
В гриву рыжую крепко вцеплюсь,
Но с букетом хоть раз на свиданье
Я к Казариной Зинке примчусь!

Оглянусь в свою юность повторно
И впервые колени склоню
Перед девичьим взглядом тем гордым,
Перед той, что я в сердце храню.

Вновь припомнятся «милые были».
И, конечно, Есенин был прав:
Нас ведь тоже когда-то любили
За строптивый, мне кажется, нрав.

ПЕЙЗАЖ ЗА ОКНАМИ ПЕЧАЛЕН

Пейзаж за окнами печален,
В полях пожухлая стерня,
И старый тополь измочален
Плетьми холодного дождя.

Ни озарений, ни открытий,
Ни шороха кустов в ночи,
Ни лунной дрожи, ни событий...
Прими, октябрь, душа молчит.

Но встречу снегирей, синичек,
Неустрашимых и родных,
И с их весёлой перекличкой
Ждать буду вновь приход весны.

СОЛНЦЕ ПРЯЧЕТСЯ ЗА ГОРЫ

Солнце прячется за горы,
Лес задумчиво примолк.
На Кишертские просторы
Стелет ночь свой тёмный шёлк.

И струится воздух свежий
С Сылвы, матушки-реки,
Навевают в душу свежесть
С луговины ветерки.

Запах мяты, зверобоя
От дурманящих полян,
Над долиной голубою
Мягко стелется туман.

Прогудела электричка,
Даль с лесами говорит:
На раките свистнет птичка,
Сердце сладко защежит.

Шёпот трав в ковыльном поле,
Блеск воды речной во мгле,
Всё, любимое до боли,
На отеческой земле.

ОСЕНЬ

Лиственница ярко-жёлтой свечкой
Тлеет, а внизу разор и грязь.
Дождь цветы последние калечит,
Ветер заодно ему под стать.

Непогода, хмарь, но погляди-ка,
Краски есть весёлые кругом:
Зеленеет пышная клубника
В огороде всюду за окном.

Празднична багряная берёза
И рябин пурпуровый убор
Будут до заснеженных морозов
Оживлять тем золотом простор.

В каждом дне осеннем есть отрада,
Несмотря на дождь и темноту.
Если есть в душе от жизни радость,
То найдёшь и в этом красоту.

Сергей Крылов

ОТ СОХИ

Каждому молодому поколению жизнь отводит пять лет счастья: это время обучения в вузе, причём на очной форме обучения, с проживанием в общежитии.

И потом пусть у тебя будут неприятности, как-то: неудачная женитьба или алименты, служба в Тмутараканье или понижение в должности, бесконечные кредитные обязательства или олени рога на голове – пускай всё это будет потом. А сейчас ты в статусе студента – самый счастливый на свете человек, и длиться этому счастью целых пять лет!

* * *

Володька Корсаков, уроженец деревни Наумовка Томского района, после окончания средней общеобразовательной школы поступил на геологоразведочный факультет политехнического института. Койко-место получил в общежитии по улице Пирогова, 3.

Своему счастью Володька долго не мог поверить, а потому из комнаты общежития выходил лишь в нескольких случаях: на занятия, покушать, в туалет. Курить Володька ещё не научился.

Товарищи по комнате, все из благополучных семей, и все – родом из города Новокузнецка – не понимали Корсакова и не принимали его как молодого человека, адаптированного к проживанию в городе. Впрочем, Корсаков им не мешал, и это – главное!

...А город Томск – манил и привлекал: Дом культуры политехников предлагал концерты бардов, артистов, выступления молодых поэтов, танцы под «живую» музыку; кинотеатры («Темп», «Октябрь», «Максима Горького», «Родина») предлагали увлекательные фильмы; в самом кинозале, на последнем ряду, можно было даже целоваться со своей девушкой. Студенты, которые посмелее, осваивали окраины города Томска: Дом культуры шпалопропиточного завода и лесоперевалочного комбината, ГРЭС-2 и карандашной фабрики, завода измерительной аппаратуры и железнодорожный вокзал Томск-второй... Везде студентам были рады, особенно – девушкам...

Но всего этого был лишён Володька Корсаков: мало что деревенский, так ещё и одежда на нём была... некрасивая и – на вырост.

* * *

Первую для себя сессию – зимнюю – уроженец деревни Наумовка Томского района сдал без троек, чем крайне поразил своих одногруппников.

На каникулы в родную деревню Володька не поехал: а зачем?.. Снег бросать да назём таскать?

Сожители его отправились в Новокузнецк, к родителям, и Володька остался один в комнате общежития. Денежек немного было: на хлеб, на чай, на сахар, а что ещё студенту надо? Будет сытно есть – учёбу бросит!..

В конце недели, в пятницу вечером, Володька надумал сходить в Дом культуры «Политехник» на танцы.

...Володька шёл улицей Усова и радовался жизни. Радовался тому, что живёт в студенческом городе, который ему ещё предстояло познать.

Вообще-то Томск удивляет своей красотой обывателей и гостей города трижды в год: поздней весной, ранней осенью, поздней зимой.

...Поздней весной проспекты города – в зелени: длинными фронтонами высятся красавцы-тополя. В самом конце мая месяца расцветают кусты черёмухи, и все томичи несколько дней любят белыми и нежными лепестками, аромат которых так кружит головы. А следом – пронзительное благоухание распустившейся сирени и – яркие цветы декоративного шиповника...

Ранней осенью Томск наполняется... добротой, тишиной, лёгкой прохладой, золотом опавшей листвы, красивыми закатами, грустью об ушедшем лете.

...По утрам много-много красивых девушек и юношей спешат в учебные корпуса вузов. А что девушки несомненно красавицы, факт: ведь со всей страны и ближнего зарубежья едут они в Томск, чтобы – вдали от родителей – порадоваться жизни, до обеда просидеть на лекциях, а затем – отдохнуть!

...А поздней зимой наш Томск особенно красив на выходе солнца, когда белые снежинки – украшение крыш домов и маковок стареньких церквушек, низкорослых кустов и вздыбившихся деревьев – вспыхивают маленькими блёстками в первых солнечных лучах.

* * *

В Доме культуры «Политехник» при ярком электрическом освещении жизнь была ключом: группа джаз-блюз «Парадиз» исходила интимом, и даже работал буфет.

...Ну что ж! надо было с чего-то начинать, и вскоре Володька Корсаков оказался в руках энергичной и кражистой девицы с тяжёлой грудью и мясистым задом.

– ...Меня зовут Аглая! – верещала девица. – Я учусь в университете на филологическом факультете, живу в общежитии по проспекту Ленина, 49... Расскажи немного о себе!

– Да ничего интересного, – ответил Володька, – родился и вырос в деревне. Кроме меня у мамки ещё трое – две сестры и брат Парамон. Отец четыре года тому назад уехал «собакам сено косить», да так и не вернулся.

– Боже мой, – закричала Аглая. – Как интересно, необычно, в то же время – по-деревенски просто: «собакам сено косит»... Между прочим, этот сюжет полностью совпадает с темой моего курсового реферата: «Славянофилы – кайма русской классической литературы».

– ...А я-то здесь при чём? – успел вставить вопрос бесхитростный Володька. – Я учусь ведь в политехническом, на геологоразведочном факультете.

– «При чём!» – воскликнула энергичная Аглая. – Ещё как – при чём! Давай

отойдём в сторонку... Итак, напоминаю: только – и только! – славянофилы идеализировали старую, допетровскую Русь и триместник: вера-царь-Отечество.

– ...Да, но это когда было-то, – попытался возразить Володька.

– Не перебивай! – властно заявила Аглая. – Так вот, основной упор славянофилы делали на деревенского мужика от сохи... Ты, Володька, от сохи?

– Да, я от сохи, – вынужден был согласиться Володька Корсаков. – Но это ещё ни о чём не говорит!

– Это как раз и говорит о многом, – подхватила Аглая. – Кто, как не ты, может понять – и принять – мятежные страдания членов семьи Аксаковых о судьбе простого русского мужика!

(Пауза)

– Да ты читал ли повесть Сергея Тимофеевича Аксакова, дворянина и отца большого семейства, под общим названием «Детские годы Багрова-внука»? – обратилась Аглая к Корсакову.

(Пауза)

– Пойдём! – решительно заявила энергичная Аглая. – Ты меня проводишь до общежития, а по пути я поведаю и о славянофилах, и о семействе Аксаковых.

– А оно мне надо? – попытался возразить Володька.

– Ты Родину любишь?

– Люблю... очень люблю!

– Тогда молчи и слушай!

...Так уж получается в жизни, что наивность ассоциируется с беспомощностью, отсюда в отношениях между людьми выстраивается определённая доминанта – «ведущий», то есть лидер. Женщины нутром вычисляют слабаков-ведомых.

...Володька Корсаков, один из таких дураков, плавно перешёл из мозолистых рук матери-доярки в хватистые руки студентки-«ведущей».

* * *

Вечерний Томск был хорош: небосвод сплошь усеян блескучими звёздочками, народившийся месяц своим золотым рогом уставился на землю, сверху тихо падали мягкие снежинки. На раскрытой ладони снежинки моментально таяли...

По дороге от Дома культуры до общежития филологов, что в доме № 49 по проспекту Ленина, Аглая всё несла и несла ахинею: про мужичьи кафтаны с кушаками, и про лапти с онучами; про дворянина Аксакова Сергея Тимофеевича, сына прокурора суда города Уфы, женившегося на Ольге Семёновне Заплатиной, дочери генерала, про русского мужика, сохой поднявшего землю-матушку...

Попрощавшись с Аглаей возле общежития университета, Володька не спеша отправился к себе на Пироговку.

На душе как-то... хреново: и не отдохнул толком, и не поговорил толком, и чувствовал себя дураком. А виной всему – энергичная и нахрапистая Аглая.

«Стоять, зорька! – дал самому себе команду Володька. – Я же ведь не спросил, во сколько завтра мы с Аглаей встречаемся в Городском саду».

Он развернулся, зашагал обратно.

Старик вахтёр отказался пропустить Володьку: поздно уже!

– Да ты пойми, – внушал он старику, – мне только спросить и – всё!

– Не положено! – стоял на своём вахтёр.

– Сидишь тут с пегой бородой и прокуренными усами, – зло пыхтел Володька в адрес старика, – а того не осознаёшь, что человек – существо мыслящее.

– А я вот сейчас в милицию позвоню, – пригрозил вахтёр, – она, милиция-то, тебе человека и вправит!

Володька Корсаков вышел во двор: окон – тьма, а за каким его Аглая? Володька подошёл к проржавевшей водосточной трубе, укрепившейся на углу здания снизу доверху.

Встав на колени, Володька заорал в жестяной раструб:

– Аглая! Аглая! Эй, Аглая, я пришёл, Володька из Наумовки!!!

Жутким эхом отозвалась водосточная труба. В некоторых окнах общежития погас свет. Но студента-политехника уже нельзя было остановить.

– Аглая! – орал он, обхватив руками трубу. – Я к тебе лезу! Сподвижник твой, Володька-славянофил!

Между вторым и третьим этажами колено трубы оторвалось. Вместе с Володькой.

...Работники «Скорой медицинской помощи» грузили носилки с Володькой Корсаковым в машину.

– Спёкся, сердешный! – пожалел его старик вахтёр.

– Да это синтез хамства и полового вожделения! – раздался звонкий девичий голос из форточки.

Иван Аникин

ПОЧТИ С НАТУРЫ

ДЕТСТВО С ПРИРОДОЙ

Любовь к природе мне привила бабушка: она меня таскала в лес и на речку с тех самых лет, какие я только помню. Ходили за ягодой, грибами, собирали различные травы, копали корни, рвали хмель – на нём раньше ставили опару и стряпали хлеб, ставили брагу. Хмель заменял дрожжи. Почти всё заготавливали в лесу – лекарства, шишки, веники, сено, дрова, ягоду, грибы. Без этого прожить в деревне невозможно.

Как только наступала весна, всё взрослое население выходило в поле сеять хлеб, в лес – заготавливать дрова, молодые деревья – на полозья саней. Пиломатериал готовили в основном зимой.

В деревне оставались старики и дети. Был у нас и детсад, его почему-то называли детские ясли. Туда водили ребятишек всех возрастов, все находились в одном помещении, никаких отдельных групп не было. Моя мама с бабушкой часто ссорились из-за меня, да и так они жили плохо друг с другом. Мать меня тащила в ясли, а бабушка меня оттуда тихонько уводила, не предупреждая воспитателей, которые потом бегали по деревне, не зная, куда я исчез. И если бабушка меня не позовёт тихонько из-за угла, то я с друзьями и братьями Владимиром и Виталием перелезал через забор и исчезал до вечера.

От родителей потом был нагоняй, бить они меня не били, хотя иногда пытались. Но у меня был в этом деле хороший защитник. Он грудью вставал на пути любого агрессора, который пытался меня наказать физически. И, прячась за бабушкиной спиной, я получал ущерб незначительный по сравнению с тем, который должен был бы получить.

Рыбалка – это лучшее наше с бабушкой занятие. Она плела корчажки (так называли у нас в деревне ловушки для рыбы, сплетённые из прутьев тальника). Это что-то вроде верши, только у корчаги горловину смазывают тестом, добавляя пережаренные семена льна или конопли, и комочек бросали внутрь. Расставив корчаги, мы садились на нашем излюбленном месте у раскидистой старой ивы на берегу реки Баксы. Закинув удочки, ждали поклёвки. Наловив чебаков, ельчиков, проверив корчаги, мы, счастливые, с хорошим уловом шли домой. Воспитатели отказывались меня брать в ясли, мать была против того, чтобы меня воспитывала бабушка, дескать, она меня балует. Тогда отец решил меня брать с собой на покос, так как он был звеньевой, у него в подчинении было около двадцати человек мужчин и женщин. Взяв литовки (косы), встав друг за другом, колхозники косили траву. С раннего утра до позднего вечера.

Небольшой перекур во время обеда. Предоставленный сам себе, я занимал

себя, чем мог. Отмахивался от комаров, мух, слепней и паутов. Поймав паута или слепня, отрывал ему крылья, бросал на муравьиную кучу, наблюдая, как муравьи расправляются со столь крупной добычей. От скуки лазил на деревья, а однажды взял и отошёл подальше в сторону, сел за дерево и уснул. Хватившись, что меня нет, все забегали в поисках. Громко кричали: «Ваня! Ванечка!». Но я, услышав, не отвечал, сидел и слушал, какой из-за меня поднялся переполох. Только когда я услышал, что заплакала моя мама, вышел из своего укрытия. Мама, крепко обняв, стала целовать, плача и причитая. С тех пор меня с бабушкой не разлучали. Я купался в реке до посинения, загорал, рыбачил.

Однажды к нам в корчагу попала огромная щука. Погнавшись, видно, за рыбёшкой, которая нырнула в корчагу, она кинулась за ней. Когда мы подняли ловушку, из горловины торчал хвост. Мы её не могли вытащить. Бабушке пришлось расплести часть корчаги, чтобы освободить хищницу. Завернув её в телогрейку, которую бабушка брала для меня вместо лежака и сиденья, занялась корчагой. А мне сказала, чтобы я следил за добычей, которая начала шевелиться и подпрыгивать. Извернувшись, скинула с себя телогрейку и стала приближаться к воде. Я попытался её остановить, но она, чиркнув у меня перед носом своей огромной пастью, дала мне понять, что не стоит мне соваться к хозяйке реки. Я громко позвал бабушку на помощь, но было поздно. Огромная щука, подпрыгнув ещё раз, плюхнулась в воду и, махнув нам хвостом на прощанье, исчезла в тёмной воде реки.

Мы, конечно, сильно переживали свою неудачу. Бабушка меня успокаивала – дескать, мы всё равно её поймает. И действительно, через какое-то время мой отец с соседом дядей Гошей, взяв небольшой бредешок, пошли порыбачить. Взяли меня и соседского мальчика, немного старше меня, Толю, таскать рыбу. Наловили целое ведро мелочи и несколько небольших щук, я таскал их, нанизанных на небольшую палку с сучком. Мы с Толей уже притомились и начали скулить. «Хорошо, сейчас последний раз закинем», – сказал отец. Заходя вглубь, он вдруг резко провалился с головой в какую-то яму. Вынырнув, поплыл к берегу. Вытаскивая бредешок, мы увидели огромную щуку, очень похожую по размеру на ту, которую мы с бабушкой упустили. На теле у неё не хватало нескольких чешуек – это бабушка содрала их, когда вытаскивала щуку из корчаги. Да и от того места совсем рядом. Вот так бабушка предсказала и убедила всех, что эта щука наша.

В конце деревни, в нашем краю, у берега реки было кладбище, на котором стояла огромная лиственница, в обхвате – пять метров. Высоту я точно не помню, хотя я её мерял, когда учился. Было домашнее задание по геометрии. Измерить, кто что хочет, по теореме. Точно не помню – синусы, косинусы, короче – прямоугольник. Очень высокое, абсолютно сухое дерево. Для жителей деревни это был своего рода маяк. Вершину этого дерева было видно за много километров. И нам, пацанам, было легко находить дорогу домой.

Моя бабушка, 1900 года рождения, говорила, что, когда ей было семь лет, одна ветка была ещё зелёной. Лиственница простояла до 1985 года. Упав, не повредила ни одной могилы, ни одного креста, только поломала некоторые ограды. Такого дерева я ни разу не встречал в Сибири. Только на Чёрном море, в бо-

таническом саду, во время отдыха по путёвке. Эвкалипт – вот это гораздо выше нашей лиственницы и больше в объёме. Но это же тропики, а у нас – Сибирь.

В восемь-девять лет я уже неплохо держался в седле. Отец несколько лет работал конюхом, и я частенько ему помогал, а чаще, наверное, мешал. Очень полюбил лошадей. Когда отец ушёл от нас, мы с мамой, чтобы выжить, пасли деревенский скот – коров и овец. Колхоз давал нам лошадей, редко с седлом. Обычно кинешь телогрейку на торчащий хребет и целый день почти не слазишь. От этого сбивали задницу себе и коню хребтину, но всё равно – ты на коне.

С пятнадцати лет я начал обучать молодых, не объезженных коней. Запрягал сначала в сани, носились по деревне сломя голову. В Ново-Ивановку тогда не ходил никакой транспорт, и все, кому необходимо было, шли ко мне. Мы тогда уже семьёй переехали в деревню Терсалгай. Конюхи дядя Миша и дядя Коля никогда не запрещали мне запрягать какую-нибудь молодую лошадь. Я брал ещё с собой двух-трёх ребят, чтоб было веселее, и мы везли пассажиров.

Ново-Ивановка всегда славилась своим хорошим самогоном. В шестнадцать лет мы уже баловались этим делом. Нас там, конечно, угощали от души. И мы весело, с песнями возвращались домой. В то время молодёжи было много, в клубе было не протолкнуться. Часто вспыхивали драки по любому поводу. Я частенько принимал в них активное участие. Я научился неплохо драться. Как-то после очередной драки в чужой деревне, правда, это было уже после армии, следователь спрашивал у меня, чем я занимался – боксом или самбо. Мой ныне покойный друг Виталий ответил за меня: «Выработано в результате работы». Тогда нас чуть было не посадили. Мы втроём тогда разогнали толпу человек в 15. Но это уже другая история.

Однажды отец пригнал жеребца по кличке Гайдан – это был огромный, серой масти конь с широченной спиной и ещё более широким задом, с длинной чёрной гривой и таким же хвостом. Отец был слегка навеселе. Распрягая его, спросил меня: «Ну что, сынок, утонишь жеребца на конюшню?». Конечно, я обрадовался, так как до этого отец доверял мне только самых старых кляч, мне тогда было лет пять. И, посадив меня на широкую спину лошади, отпустил поводья. Я, вцепившись в гриву, как клещ, с гордостью помчался в конюшню, легко перескочив жерди, которыми был прикрыт вход в загон, где стоял табун лошадей. Он по-хозяйски начал обход, храпя, то ли приветствовать, то ли проверять – все ли на месте. Я же никак не мог с него слезть: во-первых, он не стоял на месте и ещё норовил оседлать какую-нибудь кобылу. Поднимался на дыбы, мне нужно было держаться крепко, чтобы не свалиться под ноги беспокойному табуну. Во втором загоне было грязно и вязко. Жеребец меня не слушал, да он меня и не чувствовал. Я сидел, как мне показалось, долго.

Ещё когда отец отпускал поводья, я услышал, как вскрикнула мать. И отрезвлённый сразу отец бросился бежать вслед за мной. До конюшни было недалеко – с километр. Он снял меня с коня, и мы пошли домой. Отец по дороге нахваливал меня, дескать, молодец, но рано тебе ещё на таких лошадях ездить. Мать долго ругала отца за этот поступок. Он молчал, иногда подмигивал мне, дескать, всё в порядке, ты настоящий мужчина.

МОИ БЕСКОРЫСТНЫЕ ДРУЗЬЯ

Как говорят, друзей много не бывает, и, думаю, это действительно так. Есть у меня настоящие друзья, и этот рассказ я хочу посвятить им. С Владимиром Ивановичем Труновым мы познакомились через наших жён – они работали в детском саду. Вера Александровна была заведующей, а моя жена Лариса Васильевна – воспитателем. Раньше коллективы были дружные, и праздники собирались вместе отмечать – дни рождения, свадьбы, проводы в армию или любой другой знаменательный день. На одном из таких мероприятий мы и познакомились.

Владимир Иванович в то время был участковым, я – шофёром автобазы райпо. Через некоторое время Владимир Иванович стал начальником уголовного розыска нашего района, я тогда возил председателя райпо Владимира Акимыча. Это тоже был замечательный, честный и справедливый человек. Из всех начальников, которые были в моей жизни, самый уважаемый. О нём я тоже постараюсь написать.

Иногда я заходил к Владимиру Ивановичу в кабинет поговорить, как можно помочь земляку, что-нибудь натворившему по пьянке. Владимир Иванович неоднократно вытаскивал хороших мужиков, которые, оступившись, попадали в его отдел. Но ни разу он не сказал, что это именно он помог, просто скажет: «Я там поговорил с ребятами», – то есть со своими сотрудниками – и всё, он вроде как ни при чём.

От бывшего сидельца я узнал, что и он, авторитетный мужчина, которому не раз приходилось бывать в «не столь отдалённых» местах, уважаемый среди заключённых, – бывало, обращался к нему за справедливостью. Нет, не за себя, за случайно оступившихся парней, чтобы не искалечить человеку жизнь. За это многие благодарны им – Анатолию Алексеевичу и Владимиру Ивановичу. Дай Бог им здоровья, а оно им действительно сейчас необходимо. Анатолий потерял здоровье в застенках и на лесоповалах. Владимир Иванович – на непростой службе, требующей большой нервной, умственной нагрузки. Как говорят, нервные клетки не восстанавливаются, от этого и болезни. Но Владимир Иванович не потерял достоинства, интеллигентности. Да, это настоящий полковник. Прошло немало лет, а они помнят друг о друге. Ведь совершенно разные люди. Один – на страже закона, другой – несколько раз осуждённый сиделец. Сейчас всегда рады встретиться и поговорить друг с другом или что-либо вспомнить. Анатолию не раз говорили: дескать, это же мент. Были бы все такие менты, мы бы жили совсем по-другому, такого беспредела бы сейчас не было. Владимир Иванович, полковник запаса, как всегда, подтянутый, стройный, чуть выше среднего роста мужчина, работает заместителем по безопасности одного из банков Томска. Приезжает иногда ко мне в баньку – любит попариться. После парилки, как обычно, по неписаным сибирским законам мы садимся за стол, сервированный Ларисой Васильевной – грибы, иногда благородная рыбка, губы лося, лапы медведя, хвост бобра – люблю угощать друга деликатесом. Владимир Иванович тоже каждый раз балует меня хорошим вином, а внука Никиту, который очень любит дядю Володю, – фруктами, напитками. Однажды у меня за незаконно

отстрелянного в другой области медведя забрали карабин, и похоже было, что вернут его не скоро. А без карабина мне стало очень скучно, без охоты я почти не жилец. Заметив это, Владимир Иванович через некоторое время привозит мне новенький СКС, говорит: «Пристреливай сам». Думаю, здесь комментарии излишни.

Приняв по несколько стопочек благородного вина, мы иногда вспоминаем интересные случаи. Как-то собрались на рыбалку почти всем отделом снять стресс, короче, творчески отдохнуть. Но во время сухого закона трудно было достать что-либо, что могло снять стресс, даже мне – работнику торговли. Конечно, я мог взять две, ну три бутылки вина или водки. Но это только для запаха для такой компании. Я вспомнил, что у меня давно стоит фляга браги, а аппарата для перегона нет. Об этом я сообщил рыбакам. Они поняли мой тонкий намёк, и через какое-то время я имел в собственном пользовании прекрасный аппарат, с помощью которого перегнал брагу в более благородный напиток градусов под 70. Взяв необходимое количество с запасом, мы дружной компанией поехали в Вороново к нашему отличному другу Александру Ивановичу Ромашову (Майскому). В основном все его знают как Саньку Майского. Среднего роста, плотного телосложения, добрейшей души человек, спокойный, с чувством юмора, скромный, в общем, прекрасный парень. Его жена Галина Васильевна, приветливая, гостеприимная, красивая, полная женщина, что ей очень к лицу. Добродушно встретили нас, приглашая в дом. Но мы пока отказались, дескать, нужно порыбачить, потаскать невод по протоке Симан. Приняв по маленькой пару раз, закинули невод. Мы с Николаем были в лодке, где находился весь боезапас, которым он немедленно воспользовался, плеснув себе и мне по соточке первача. На нём это быстро отразилось. Пока мы подтянули невод, Коля уже тихо посапывал, уткнувшись головой в нос лодки. Жадноватый до этого дела, но слабенький, ему много не надо. Иногда, пока мы сидим, он успеет раза два-три выспаться.

Погода была прекрасной. По-летнему светило солнце. Было тепло, но не жарко. Всё-таки сентябрь – осенний месяц. Берега, покрытые золотом пожелтевших листьев берёзы, тальника и багрово-красными, постоянно трепещущими листьями осин. Стайка чирков, собравшихся в дальний перелёт на юг, кружилась над соседним затоном. Стояла тихая, умиротворяющая сибирская осень. Забросив ещё пару раз, поймав некоторое количество рыбы – чебак, окунь, несколько небольших щучек, пару судаков и с мешок леща, мы, по приглашению Александра Ивановича, захватив с собой остаток первача и рыбки на жарёху, ввалились в дом.

Галина Васильевна приветливо встретила нас, она привыкла, что у них всегда какие-нибудь гости. То родственники, а в основном мы – рыбаки, охотники. Иногда три-четыре человека жили по несколько дней. Я думаю, далеко не каждая хозяйка или хозяин так может относиться ко всему этому. Мы ехали, как к себе домой, жили, как одна семья. Я имею в виду себя, Костю Траутвейна, Дерябина Анатолия, которые частенько приезжали на рыбалку или на охоту. Три комнаты, небольшой коридор, удобства, как почти у всех, на улице. Как говорят – в тесноте, да не в обиде.

С улицы, когда смотришь на этот прекрасный дом, окрашенный в чисто белый цвет, с круглой, железом крытой крышей, он кажется огромным грибом-боровиком, здоровым и крепким. Стоит, окружённый морем цветов – георгины, гладиолусы, розы всех цветов и оттенков, названия которых я даже не знаю. Галина Васильевна – это её рук творчество – взрастила такую красоту. И когда только успевает – двое детей, домашнее хозяйство, работает дояркой в совхозе. И для нас успела приготовить. Салаты, лосятина с бульончиком, уха из стерляди, которую наловил её любимый муж Александр.

Усевшись вокруг стола, мы приступили к трапезе, наливая при этом по стопочке первача, весело балагурия о прошедшей рыбалке. Николай, приняв пару стопочек, в очередной раз положив голову на стол рядом с тарелкой ухи, мирно посапывал. В это время Васильевна, ставя стеклянную банку из-под растворимого кофе на стол, сказала: «Может, кому перчик». Мы одобрительно закивали. Проснувшийся Николай этого не слышал. И, увидев банку из-под кофе, радостно произнёс: «О, кофе, бразильское». Попросил кипяточку. Ему плеснули в гранёный стакан горячей воды, и он, немедля открыв банку, стал чайной ложкой грузить перец. Положив одну, помешал, видит, что как-то слабо, – кинул ещё одну. Санька попытался остановить его в самом начале, но Трунов остановил: дескать, пускай пьёт, быстрее очнётся. Коля, тщательно перемешав содержимое стакана, предчувствуя наслаждение, закрыв глаза, сделал глоток, и мгновенно их открыл. Ясно и просветлённо посмотрел вокруг. Мы, наклонив головы к чашкам, сдерживаясь, давились от смеха. Ничего не заметив подозрительного, он подумал: видно, показалось. На этот раз не понять, в чём дело, было трудно. Выкатив глаза и разинув рот, Коля произнёс: «А! А! О!». На столе стояла вода для тех, кто запивал горилку, и такой же стакан с первачом. Его содержимое быстро исчезло во рту Николая, придав ему ещё больший эффект горения. Коля замер с открытым ртом и некоторое время находился в шоковом состоянии, пока Александр Иванович не дал ему большую кружку воды. Выпив её, как мне показалось, одним глотком, он стал ошарашенно вращать глазами, ища виновного. А спустя несколько секунд, уткнувшись лицом в стол, уснул.

Утром стоял плотный, как молоко, белый туман, он закрывал всё вокруг, на длину вытянутой руки ничего не было видно. Такое бывает часто в Сибири осенью, в сентябре. В таком тумане легко заблудиться даже в хорошо знакомом месте. Поэтому, проснувшись, нам пришлось ждать, пока уйдёт туман. В это время Николай с Виктором при поддержке Александра Ивановича лечили голову – кто рассолом, кто горилкой. А кто тем и другим. После общения с природой все вернулись живыми и здоровыми и с небольшим уловом.

ОСТАВИЛ С НОСОМ

В начале сентября ко мне приехал на иномарке мужчина лет 45-50, чуть ниже среднего роста, представился Валерием Ивановичем и предложил работу в лесу. «Помоги мужикам отвести деляну для загонов и древесины». Я сразу согласился. Во-первых, я сидел без работы, во-вторых, узнал, что возглавлять

нашу группу будет Вадим Анатольевич Трапезников. Мужчина около 50 лет, выше среднего роста, плотного телосложения, можно сказать, богатырского. Мы с ним встречались много лет, работая на Беговой Плесе, и во время охоты. Грамотный, хорошо знающий своё дело лесоустроителя, с чувством юмора, хорошо поёт под гитару.

Вадим Анатольевич приехал с другом. Я раньше с ним не был знаком. Евгений, лет 45, среднего роста, немногословный, худощавый брюнет. Познакомились, и мне через некоторое время уже казалось, что мы друг друга знаем давно. Жили на берегу реки Шегарки, на границе Новосибирской и Томской областей. Натянули пологи – это что-то вроде полпалатки: половина крыши и сзади тебя стенка. Перед ним разводил костёр и спать в осеннее время относительно неплохо. Один полог у нас был как кухня и столовая. Была у нас и палатка, ею мы как-то редко пользовались. Как-то в дождь в неё забрались наши собаки. Мой Белый – года три, умный, уравновешенный пёс, который шёл на зверьё, соболя, иногда глухаря добывал с ним. Послушный и спокойный, умный кобель в тайге незаменим. Буран, такой же масти, как и мой Белый, но несколько отличавшийся характером – своенравный, постороннего к себе не подпустит. Все, кто его пытался погладить, сильно об этом жалели. Один из рабочих, когда шла заготовка леса, угостив его картошкой, погладил его по голове, и тут же мгновенно был схвачен за руку. Поэтому старались держаться от него подальше. Увидев их в палатке, мы попытались выгнать их оттуда, но не тут-то было. Буран огрызнулся, и когда хозяин стал шурудить палкой, хватал её. Белый, некоторое время прятавшийся за своего друга, вылез первый. Вадим кое-как выгнал своего.

Однажды я проверял на реке сеть, собаки плавали и переходили по перекату с берега на берег. Осенью река мелеет сильно. Буран плохо плавал, сильно хлопая передними ногами, задними он, похоже, не пользовался и, переплывая через речку, застрял в листьях и траве, растущих на небольшом участке недалеко от берега. Вадим, стоящий на берегу, заметил это. И крикнул мне, чтобы я вытащил в лодку собаку. Но я не торопился спасать своенравного пса. Вадим Анатольевич, заметив это, стал убеждать меня, что в данный момент он меня не укусит. Подойдя на лодке к нему в упор, я внимательно посмотрел кобелю в глаза. Он умоляюще глядел на меня, хлопая передними ногами. Я, не торопясь, несмотря на призывы хозяина спасти поскорее, вытащил его из воды, взяв его за загривок, и доставил к встревоженному хозяину. Вечером мы сидели за столом, трапезничали. Буран неожиданно подошёл ко мне, положил голову на колени и благодарно смотрел на меня. Я всё понял, но ему сказал: «Хорошо, хорошо, но гладить тебя я не буду».

Отработав у Валерия Ивановича всю осень, пока не выпал снег, мы перебрались на Беговую. Там в то время стоял большой дом, в котором уже не жили, и мы поселились в нём, занялись охотой. Евгений привёз своего кобеля такой же масти, который хорошо шёл за соболем. В этот год его было достаточно много и без добычи мы не возвращались. Как-то вечером Евгений сказал, что его кобель нашёл берлогу.

Евгений предложил её продать. Мы возражать не стали. Приехав домой, я быстро через своих знакомых нашёл покупателя, обговорив цену и взяв залог.

Мы стали ждать, когда приедут смотреть товар. Перед этим мы с Вадимом, оставив собак, сходили по следам Евгения, проверить, не ушёл ли Потапыч. Осторожно обошли на расстоянии вокруг берлоги – выхода не было, значит, хозяин на месте. Мы продолжали охотиться, но мне приходилось на каждый выходной выезжать домой, чтобы говорить о медведе – в тайге связи нет.

Так прошло почти два месяца. В ту сторону, где находилась квартира Потапыча, мы не ходили, боясь его потревожить. Берлога находилась недалеко от дороги, по которой иногда проезжали на снегоходах охотники. Лес в этом месте был крупный и поэтому редкий. Снизу росли небольшими кустами тальники и малинник. По такому лесу нетрудно ездить на снегоходах. Поэтому я каждый выходной звонил, предупреждая, что медведя могут случайно выгнать. Но покупатели не торопились: они, люди богатые и занятые делами, ждут большое начальство из Москвы, для которого и была куплена берлога.

Наконец приехал представитель, и мы втроём в «уазике», не считая кобеля, – Вадим, Фёдор и я – двинулись за «К-700» с лопатой, который прогребал впереди нас огрубевший снег. Прочистив дорогу к берлоге, не доходя метров двести, мы предложили Фёдору пройти и показать ему точное место, но он почему-то не пошёл, сказав, что в этот выходной они обязательно приедут.

Мы с Вадимом остались в доме на Беговой Плесе ждать крутых охотников, которые должны прилететь на вертолёте или приехать на машинах. С таким размахом мы ещё не встречались. Как всегда, с собой при заезде мы захватили спиртное. Растопив буржуйку, сели за стол поужинать. За разговором обсудили: если они не приедут завтра, пойдём проверять, на месте ли хозяин тайги. Было какое-то беспокойство: всё-таки прошло два месяца, и берлога не более ста метров от дороги. Но как узнать, чтобы сильно не потревожить зверя, чтобы он не вылез? В таком случае придётся самим брать грех на душу. Да очень просто, решили мы, – возьмём Бурана, привяжем его на длинный поводок и пустим к берлоге. Но на медведя мы с ним никогда не ходили, и как он себя поведёт, не знаем. Если он рванёт, то понятно – зверь на месте, а ежели он будет настырно и нагло допекать зверя, отозвать его трудно. Поводок – это надёжно, можно оттащить собаку, и мы ничего не потеряем. И овцы целы, и волки сыты.

Заведя разговор про собаку, которая лежала под столом у нас под ногами, я спросил у Вадима Анатольевича, зачем он её держит: «Она ведь от тебя далеко не отходит. Иногда соболя, который совсем близко, облает, а ни лося, ни медведя ты с ним не добывал. Отдай его кому-нибудь или усыпи, пристрели, наконец». И тут же почувствовал, как кобель цапнул меня за ногу. К счастью, ноги были обуты в чуни, и вреда он мне не причинил. Буран тут же спрятался под Вадимову кровать. Проговорив: «Ну, всё!», я пошёл в другую комнату за карабином. Когда оттуда вышел, увидел, что Вадим лежит на полу вдоль кровати, защищая своего верного друга. И мне стало стыдно и неловко. Поставив оружие на место, я предложил мировую, наливая по стопке Вадиму и себе. А его другу в знак примирения я кинул ещё не обглоданную жареную косточку. Он с удовольствием её принял, было хорошо слушать похрустывание из его укрытия.

Буран, оказывается, хорошо ищет телефоны, которые теряют люди, выгуливая своих собак, поведал мне Вадим. Так что кое-какая польза есть. Утром, не

торопясь, взяв всё необходимое, усевшись на «Буран» с нартами, двинулись по прочищенной дороге к хозяину тайги. Бросив снегоход, надев лыжи, мы пошли по затёсам, сделанным Евгением, которые вели к берлоге. Погода стояла прекрасная, свежеевыпавший снег искрился на ветках кустов и деревьев, освещённых утренним солнцем, осыпая наши лица и белоснежные маскхалаты во время движения. Снег хрустел под обитыми камусом лыжами. Стараясь поменьше шуметь, ведя на поводке своего друга, Вадим подошёл ко мне. Я подготовил видеокамеру на всякий случай. Не доходя метров 10-15, взяли оружие наизготовку, я – камеру, Вадим – ружьё.

Отпустили лайку, она спокойно подошла к лазу, заглянув внутрь. Подняла заднюю ногу, помочив край берлоги, уселась, поглядывая на нас, как бы спрашивая, что дальше. Переглянувшись, мы подошли с опаской – вдруг он всё-таки там, а кобель просто не понимает и не видит хозяина. Поняв наши опасения, Буран залез в берлогу. Это было полное разочарование для нас. Я тоже залез в берлогу. Там была толстая подстилка из сухой травы этого года и хорошо отпечатавшееся углубление от лежавшего на боку тела хозяина.

И вот что потом выяснилось. Приехавшие из Томска охотники вместе с местными в поисках дичи катались в этом месте на снегоходах и потревожили спящего зверя. И он в начале декабря вылез и пошёл по ещё не очень глубокому снегу на свою конспиративную квартиру. Пройдя потом по просеке через болото, направился в верховья реки Иксы, по пути съедая повешенные охотниками приманки и всё, что было в капканах. Об этом мне рассказал Олег Яковлев, он видел след медведя, идущего со стороны Беговой Плесы к Иксе.

Покупатели так и не приехали, если не считать Фёдора, который явился, чтобы забрать залог. Меня не было дома. Жена вернула ему всё, несмотря на те убытки, что я понёс, выезжая каждый выходной из тайги, так как там связи нет. Вот так Потапыч оставил нас с носом.

Фёдор через год погиб на охоте на медведя. Буран ещё несколько лет ходил по тайге с Вадимом, потом вдруг, подойдя к ручью, остановился и дальше не пошёл, хотя этот ручей они переходили до того не раз. Вадима ждала техника, нужно было срочно возвращаться домой, сезон работы в тайге был закончен. Наказав рабочим, которые остались на лесозаготовку, чтобы кормили собаку, если она придёт, он оставил свой телефон, чтобы сообщили, когда Буран появится. Мне он тоже наказал, но собака не пришла. Видимо, чувствовала конец своего жизненного пути и решила остаться в тайге. К Вадиму Анатолевичу он пришёл во сне попрощаться.

КОГДА БЫ СЛОВА НЕ УМЕЛИ СТРЕЛЯТЬ

Я всегда знал, что Георгий Плишкин, больше известный под фамилией своего эстонского деда – Томберг, очень хороший поэт. У него нет, или почти нет проходных стихотворений. Каждое из них чем-нибудь да цепляет. Будь то образность, философичность, сарказм... Умеет он вроде бы в безобидном стихотворении, в таком как «Красное и белое» о весне, иносказательно намекнуть о глобальном. Затронуть целый пласт нашей жизни. Или, наоборот, с иронией и с сарказмом высмеять человеческие пороки. У таких стихов, как «Банковская лирическая» или «День города», вряд ли найдётся много почитателей, особенно из числа власть предержащих. Но зато во всех его стихах чувствуется гражданская позиция поэта. Пусть не всегда принимающая нашу действительность, но всегда с высокохудожественным поэтическим словом, ратующая за нравственные идеалы нашего общества. Импонирует, что он давно определился в своих политических взглядах. Что он не из тех поэтов, улавливающих политическую конъюнктуру и пишущих стихи-однодневки, а потом жалующихся на судьбу-злодейку.

...Надо мною не ставьте креста –
И нательного хватит для неба.
Пусть горит надо мною звезда –
Никогда я предателем не был.

Это из стихотворения «Звезда», написанного достаточно давно и включённого в сборник «Сибирская Русь», вышедший в начале 2018 года в книжной конкурсной серии «Славянское слово». Радует, что Георгий Алексеевич продолжает побеждать в поэтических конкурсах, проводимых не только в нашем городе, но и в стране в целом.

Можно знать законы стихосложения. Но если в стихи не вложена душа поэта, это будет мёртвый продукт творчества, под каким бы соусом модернизма не преподносилось нам это блюдо. Не оттого ли стихи с отсутствием общечеловеческих ценностей читаются, но никогда не заучиваются на память. Стихи же Томберга не только хочется заучить, они способствуют вдохновению. Появляется желание написать нечто подобное. Но увы! Не каждому это дано. Не в этом ли феномен поэтического дара Томберга?

Ко всему выше сказанному хочется добавить многогранность его таланта. Он в отличие от авангардистов, сужающих рамки своего поэтического мастерства до размеров женского каблучка, разнолик и самобытен. Его разносторонние познания поражают воображение. Наравне с образными зарисовками о природе, коих в сборнике много, «Томск августейший» – один из них: «Мокрый город нахохлил крыши, / краски смазались в цвет один», он ещё и историк отменный, знающий в деталях эпоху, о которой пишет. Будь это стихи о Тамерлане, в вольном пересказе позднего Овидия или стихи, посвящённые 100-летию (1916–2016 гг.) Великой Крестьянской войны в России. Лично для меня эти даты стали открытием. Но не был бы Томберг – Томбергом, если б он заикливался на одной теме. В том-то вся прелесть сборника, что на его страницах присутствует и любовная лирика.

Как хорошо, что всё уходит в срок.
Какое счастье – не оставить зла!
Я полюбить по-шалому не смог,
И ты, шутя, нетронутой ушла...

И образцы басен. Хотя вроде бы их в сборнике нет. Но некоторые стихи, наполненные добрым юмором, как: «Мурлыкать надо!», «Филоложеский разбор», «Вариант рецензии» разве не соответствуют всем канонам этого жанра? Потому сборник этот обязательно надо прочесть. Насладиться настоящей поэзией нашего современника. Уверен, каждый найдёт для себя что-нибудь сокровенное, что взволнует его или заставит взглянуть на Мир другими глазами.

Продолжая же перечислять достоинства стихов томского поэта, не могу не сказать, что Томберг ещё и поэт-песенник. Жаль, что он не играет на гитаре, а то б его песни давно ушли в народ. Написанное же им стихотворение к 400-летию Томска просто обязано стать гимном нашего города. Потому как вложенный в слова смысл не потеряет своей актуальности и по прошествии 100 лет. В этом-то и кроется достоинство поэзии Г. Томберга, что его стихи не канут в Лету. Будут востребованы и любимы даже спустя много лет. Почему я в этом уверен? Да потому, что в стихах нашего земляка напрочь отсутствует фатализм. Каким бы бичующим недостатки не было его стихотворение, в нём всегда присутствует вера в лучшее будущее России, любовь к своему городу и народу.

Из всей подборки стихов, написанных в разные годы, мне больше всего понравилось стихотворение «Молитва Аввакума». Очень сильное стихотворение. Но хочется предостеречь Георгия Алексеевича, касающегося в стихах христианской веры: надо быть очень осторожным с этой темой. Потому как прецеденты в томской словесности по этому поводу уже были. Не хотелось бы повторения... Кстати, не знаю почему, но Г. Томберг нигде не упоминает рецензии, данной ему Б. Н. Климычевым. Возможно, утерял со временем, но лет 15 назад я её читал и радовался за Георгия, что его стихам даёт положительную оценку томский классик!

Ну и последнее. Среди великолепных образцов любовной лирики, стихов гражданского звучания или стихов, перенасыщенных иронией и сарказмом, есть один недостаток, заключающийся в названиях его стихотворений. Я бы согласился с автором сборника, если бы эти длинные названия были первыми строками самих стихов. Как например, «Не ходила б ты, коза, на Эверест» вместо «Вариант рецензии». Первая строчка цепляет, подталкивает к прочтению. Само же название с вариантом ни о чём не говорит. Хотя понятно, что этим хотел сказать автор. Иногда эти названия совсем не отвечают содержанию стиха. Разве «Мгновения зимнего утра под Томском» – название? Не проще бы назвать «Февраль», коль речь в стихотворении идёт как раз об этом месяце? Или «Первый зазимок 30 сентября под Томском». Почему не просто «Зазимок»? Какая разница, где и когда? В самом же стихотворении Томск не обозначен, а из-за названия вряд ли кто станет заучивать его, живя в Воронеже или в Чите.

Конечно, как и что называть, это дело самого автора, и я ему не указчик. А уж тем более не хотелось бы, чтобы это расценено было как ложка дёгтя в бочку мёда. Нет! Просто других замечаний, кроме как восхищения от прочитанного, у меня нет. Всё на профессиональном, высшем уровне: от свежих и интересных рифм, разнообразия построения стиха и его формы до содержания! Поэзия Георгия Томберга стреляет, и как всегда – в цель! Подтверждение тому последние строчки из завершающего сборник стихотворения «Когда бы слова не умели стрелять»:

«Всё чуждое надо прижечь и отсечь,
и лучший целитель – карающий меч!»
Смешно было б в речи такие вникать –
когда бы слова не умели стрелять...

Мудрое замечание!

Послесловие:

Весной этого года Георгий подарил мне свой сборник стихов. Прочитав, захотелось написать отзыв. Написанное мной ему понравилось, и он пошутил: «Расхвалил меня на века, осталось только в бронзу залезть». Шутка оказалась пророческой: через неделю его не стало. Все знавшие его сохраняют о нём светлую память.

*Геннадий Анкудинов,
член Союза писателей России*

Георгий Плишкин (Томберг) 1954–2018. Вырос в Новосибирске. Окончил ТГУ (физическая химия). Работал учителем химии. На пенсию вышел в должности ведущего инженера-химика Научно-технического центра Томскнефтехима.

Георгий ТОМБЕРГ

ТОМСК АВГУСТЕЙШИЙ

Льётся август с тяжёлого неба
Серой занавесью дождя.
Так приходит осень небыль
В наши северные края.
Мокрый город нахотлил крыши,
Краски смазались в цвет один,
По дождливому фону вышит
Влажный шелест сердитых шин.
Скоро, скоро оденется город
В золотисто-багряный свет,
И дымком по воздушному морю
Потечёт горьковатый след.

ТОМСКУ 400!

Над красавицей Томью, на круче высокой
Обороной от жадных лихих степняков
Встала русская крепость сурово и строго,
Вознеся в небеса позолоту крестов.
Откатились от стен лавы конников диких,
Навсегда затерялись в минулой золе.
А Татары и Русь, два народа великих,
Вместе строили город на общей земле.
Это Томск! Это город труда и науки.
Это Томск! Нашей Родины ядерный щит.
Как красив он зимой в серебре затихающей вьюги,
Как пьянит по весне, когда юная зелень кипит!
Уходили леса перед поступью улиц,
Поднимались дома кружевною резьбой.
Вольный воздух Сибири! Здесь люди не гнулись,
Здесь умели ответить на всякий разбой!
С каждым годом выросл удивительный город,
Молодёжи открылись дороги наук.
И учёным умом он прославился скоро,
А не только талантом торговли и рук.

В век жестокий, как бури страну ни косили,
Ты, мой город, всё сдюжил на жилке стальной.
Отдавал сыновей на защиту России –
Помнишь, Томск, как их мало вернулось домой...
Наша память с годами не станет короче,
И порукой тому бьётся Вечный огонь!
Славься, город студенческий, город рабочий!
По зелёному полю лети, белый конь!
Это Томск! Это город труда и науки.
Это Томск! Нашей Родины ядерный щит.
Как красив он зимой в серебре затихающей вьюги,
Как пьянит по весне, когда юная зелень кипит!

2004

УГАДАЙ-КА!

Что с того, что коротка! –
Не слабее Нила
Наша горная река
Петли накрутила!
Хоть по ровному течёт,
Норов её горный –
Прочь метёт бетонный гнёт –
Кто кого упорней?
А в воде своей несёт
Злато и железо.
Там, где в лоб не прошибёт –
Ласкою пролезет!
А теперь без дурака –
Имя угадай-ка –
Наша стольная река,
Верная!

БАБЬЕ ЛЕТО

Паутинкой шелковистой
Над землёй моей повисло
Бабье лето, бабье лето!
Ночь и день на коромысле
Уравнялись – вот и вышло
Бабье лето, бабье лето.

Светлый воздух горьковатый,
Жёлтый лист к земле примятый –
Золоты твои хоромы,
Бабье лето!
И, шепча в восторге маты,
Я, хмельной и бородатый,
Весь в огне твоей короны,
Бабье лето!
Всё не вечно под луною.
И над жизнью земною
Грянет холод, снег и ветер.
Но останется со мною
Даже лютою зимою
Тёплым светом бабье лето.

ТО ЛИ Я ВИНОВАТ, ТО ЛЬ ПОГОДА

То ли я виноват, то ль погода,
То ли просто шалят провода,
То ль по злобной забаве кого-то
Попадаю звонком не туда.
«Это город, тот самый, который?..
Позовите мне голос её».
Слышу – там отвечают с укором:
«Эта женщина здесь не живёт».
Адрес сверим, и адрес не сходится,
Бормочу извиненья в трубу.
И опять, плюнув чёрту на рожицу,
Диск ворочаю, словно судьбу.
В уши лезет пурга электронная,
Мелким писком до дрожи сечёт.
А прорвусь – слышу песню знакомую:
«Эта женщина здесь не живёт...».
То ли я виноват, то ль погода,
То ли просто шалят провода,
То ль по злобной забаве кого-то
Попадаю звонком не туда...

КАК ХОРОШО, ЧТО ВСЁ УХОДИТ В СРОК

Как хорошо, что всё уходит в срок.
Какое счастье – не оставить зла!
Я полюбить по-шалому не смог,
И ты, шутя, нетронутой ушла.

Уже при встрече мы не прячем глаз,
Хотя твои подруги знают всё.
Уже невеста ты и близок час,
Когда украсишь звонкое кольцо.
Да будет ласков деревенский бог!
Я не хочу завидовать тому,
Кто проведёт тебя через порог
И тихий рай устроит на дому.
Я ничего у вас не отнимал
И, думается, нет за мною зла.
А всё-таки порой до боли жаль,
Что ты вот так – нетронутой – прошла.

ЗВЕЗДА

Надо мною не ставьте креста,
С ветхим богом давно я в расчёте.
Пусть горит надо мною звезда –
Та, что нынче уже не в почёте.
Я родился под этой звездой,
Под её окровавленным светом.
Май стоял необычно пустой –
Для рожденья дурная примета.
Да, я вырос на красном ветру,
Мне от этого некуда деться.
За отцов достреляло в игру
Деревянными ружьями детство.
Долгим эхом гремела война,
Разрубившая злого соседа.
И сияли звездой ордена,
И звезда говорила: «Победа!».
На полях под крестами – враги.
Под звездой – всё наши и наши.
Из фанеры, из грубой фольги,
Как могли, заприметили павших.
Надо мною не ставьте креста –
И нательного хватит для неба.
Пусть горит надо мною звезда –
Никогда я предателем не был.

АХ, ВРЕМЯ, ВРЕМЯ!

Ах, время, время,
Снега и лета.
Где – пуля в темя,
Где – брань совета.
Ах, время, время,
Поток неровный,
Где люди – тени,
Где всё условно.
Ликуют тосты
За власть сановных,
За сытость толстых,
За лесть угодных.
Меняют звёзды
За солнцем новым –
Иные гвозди
Забьют в основы.
Иные храмы
Поставят богу.
И вновь костями
Скрепят дорогу.

НАРЯДЯТ В ФАТУ ДЕВЧОНКУ И ПРОПЬЮТ...

Нарядят в фату девчонку
И пропьют.
За соседского мальчонку
Отдадут.
Будут тосты величавы –
Дым из слов.
Свадьба выгорит на славу –
Сто столов!
И под крики «Горько! Горько!
Как до дна!».
Вспыхнет юная, как зорька,
Смущена.
Созоруют гости к месту
Соль-словцом –
Вгонят бедную невесту
В жар лицом.
Гул и гомон, звон стаканов,
Перезвон...
К ночи выскользнут меж пьяных
Двое вон.

Разбежится в мягкой спальне
Темнота.
Засияет перед парнем
Нагота.
А невестины подружки –
Ближе нет! –
У окна теснят друг дружку –
Подсмотреть.
Свадьба бьёт ногами оземь –
Смех и гром!
Но задумчив и серьёзен
Тихий дом.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБ ЯВИТЬСЯ КО МНЕ...

Для того, чтоб явиться ко мне,
Соберёшь свой наряд боевой
И придёшь в нерушимой броне –
В «ни за что, никогда и нигде».
Будет сталь эта грозно блестеть,
Чтоб без вольностей было с тобой.
А рискну – не собрать мне костей –
Ни за что, никогда и нигде.
Бог с тобою! Я стану к стене,
Удивлённо качну головой –
Я ещё ого-го! – раз ко мне
В «ни за что, никогда и нигде».

ДЕВЧОНКИ

Девчонки, девчонки,
Весна свистит в ушах.
Отчаянны и тонки,
В нарядах и прыщах.
Ещё незрелы телом
И в играх неловки,
Но ты смотри, как смело
Сверкают их зрачки!
Но ты смотри, как зыбко,
Врастяжку говорят!
Плывут худые рыбки,
Аж пёрышки горят!

ДОЖДЬ

Наконец-то спустился дождь –
По мохнатой небесной лапе
Ниспадают за горстью горсть
Жемчуга драгоценных капель.
После зноя – такая блажь,
Вся природа в такой истоме,
Будто заново кисть прошлась
По огромной живой иконе.
И хоть я атеист насквозь,
И ни бога, ни чёрта нету,
Но вдруг слово в душе зажглось –
Благодарной молитвой свету.

100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЫ *

Врезана Русь чьей-то хитрою бритвою,
чавкает кровью родная земля.
Множатся боем и мором убитые,
множатся стаи лихого зверья.
Тёплый платок сбился серым калачиком,
пальцы к щекам и во взгляде темно:
«Красные мальчики, белые мальчики,
что же вы целитесь в сердце одно...».
Как разгулялись чужие воители,
словно поставив страну на правёж,
даром что в каждой щели есть правители,
все они вместе – подрёберный нож.
Смолкли заводы, дороги заброшены,
нынче в России иная страда –
конная лава мчит полем некошеным,
сабельным звоном беря города.
Безличь вождей, под любыми расцветками –
лезут штыками за хлебом в село.
Да мужики-то сегодня с «ответками»!
Сколько их в страшных бунтах полегло...
Тёплый платок сбился серым калачиком,
пальцы к щекам и во взгляде темно:
«Красные мальчики, белые мальчики,
что ж вы стреляете в сердце одно...».

* Осенью 1916 года в России введена продразвёрстка. Началась Крестьянская война, на фоне которой полыхнула и Гражданская.

МОЛИТВА АВВАКУМА

Не бранитесь, дети малыя,
Меж собой до убиения.
Буде вам ужо, усталыя
От крови да исступления.
Грешны те, творящи прежде,
Озоруя, как диаволы,
Власти ради, ради денежья.
И до Божией им славы ли?
Да, земное всё минуемо,
Преходяще, аки вымысел.
Впусте к разуму взыскуем мы –
Надо мыслию Бог выше сел.
А оне всё драться ладятся,
Жён ругают, тратят детушек.
Да неужто этим катится
Житие у человечушек?

КАК ОБУСТРОИТЬ СТРАНУ

Рядить с глупцами смысла нет,
и с мудрецами тоже –
такой порой дадут совет,
что сохрани нас боже!
И, значит, собственный наш дом
нам строить без указки,
не забывая же при том
соседей разных сказки.
В конце концов, ведь не для них
свою страну мы ладим.
Ну а чужой брюзгливый чих
оставим за оградой.
Причин для ссоры в этом нет
(хотя придраться можно) –
любой послушаем совет,
а сделаем, как должно.

МУРЛЫКАТЬ НАДО!

«Какая совесть у котов?! –
За что им ласка, стол и кров?» –
С обидой думала собака.

И злоба, почернее мрака,
переполняла жаром кровь.
«Ниспровержение основ!
И ночь, и день я на цепи,
дом от врагов остерегая,
а этот – с боку на бок спит,
поест – и тут же вновь зевает!
Ему и сытно, и тепло,
и чешет за ухом хозяйка –
понты такие! А трепло! –
секреты сдаст все, без утайки!».
Тут вылез котик на крыльцо
и, сделав хитрое лицо,
сказал собаке: «Зря вопишь,
как недомученнаямышь.
Ведёшь себя ты очень скверно,
и оттого тебе не рады.
А ведь рецепт есть самый верный –
не лаять, друг, мурлыкать надо!».

НУ ВАСИЛЬИЧ, НУ ПРОРОК...

Ну, Васильич, ну, пророк,
Угадал!
И в самом деле:
Дураки б в Москве сидели,
Кабы не было дорог.

ВАРИАНТ РЕЦЕНЗИИ

Не ходила б ты, коза, на Эверест –
ведь туда мне не забраться, не залезть.
Что за глупости в копытцах у тебя?
Я ж всегда добром пасу и не грубя.
Да, я с палкой. Ну а вдруг из чаши волк?
Разве хочешь, чтоб тебя он уволок?
Лучше шастай по равнинной простоте,
альпинистов не пугай на высоте.
Чем же дома, здесь не ладно и не гут?
Всё равно тебе медали не дадут –
их дают одним двуногим – вот те хрест!
Ну куда ты прёшь, коза, на Эверест?!

ЗАЧЕМ МЫ ПЬЁМ?

– Зачем мы пьём? – спросил мулла Хайяма. –
Ведь то запрещено всей святостью Ислама!
– Мой мудрый друг, ты можешь пить без страха:
Будь трезвыми, мы б прокляли Аллаха!
А так мы в вере, хоть и пьян наш вид.
Хвала Аллаху! – он нам всё простит.

СЛОВНО ДАЛЬНИЕ ГОРЫ, ВИСЯТ ОБЛАКА...

Словно дальние горы, висят облака,
ярко блещут на солнце вершины.
Так и люди порою – глядят свысока,
и важны, и значительны – издалика.
А коснёшься – туман и руины...

МИНУС 47 ГРАДУСОВ ПО ЦЕЛЬСИУ

На нас насунулся мороз –
За сорок хвост уже примёрз!
И жжёт, и жучит нашу плоть,
И всё крепчает, и серчает –
Такой и водки не бывает,
Чтоб эту жуть перебороть!
В тумане прячутся кварталы,
Ползут машины наобум,
Замёрз и сник обычный шум –
Лишь снега звон, как скрежет стали.
Одетый в нежные кристаллы
Наряжен город и угрюм –

Мороз!

МГНОВЕНИЯ ЗИМНЕГО УТРА ПОД ТОМСКОМ

Переливчатой шёрсткою лёг
перламутровый свежий снежок,
белой тенью на ветках повис,
не спешит вниз.
Приглушённый, как дымчатый, свет –
от горячего солнышка след.

Не играет оно, не горит,
прилегло, спит.
Чуть скрипит под ногами ковёр –
снежных зёрнышек жалостный хор.
А вокруг – светлой сказкой Сибирь,
это мой мир.
Будто нет ни банкиров, ни зла,
будто Родина наша цела...
Вот такой нынче хитрый февраль,
фантазёр, враль...

НЕСТАРЕЮЩИЕ ЛИЦА

Словно звёзды во вселенной,
вьются в воздухе снежинки,
белым временем ложатся
на просторные страницы,
на забытые дороги
и на тёплые ресницы,
сквозь которые мне снится
круг друзей, давно далёких.
Нестареющие лица...

КОГДА БЫ СЛОВА НЕ УМЕЛИ СТРЕЛЯТЬ

Ни Бога, ни Чёрта, ни ада, ни рая –
Земля, вот она – на ладони, живая!
С текучей водою своих океанов,
лопочут на ней разноликие страны.
У круглой Земли быть не может конца,
тупик – лишь в надсадной работе умца:
на зло и добро в помощь Бога зовёт,
а коль не выходит, то – «Мир наш не тот!
Загнил и растлился, завял и отсох!
Не следует вере старшин и отцов!
Всё чуждое надо прижечь и отсечь.
И лучший целитель – карающий меч!».

Смешно было б в речи такие вникать –
когда бы слова не умели стрелять...

Просторный конференц-зал школы №7 Стрежевого собрал более 200 старшеклассников из всех девяти школ города. Школьники узнали, насколько богато литературное наследие томичей. Были подробно представлены все 14 томов томской классики, а сами книги подарены всем школьным библиотекам.

Помимо выступлений писателей Вениамина Колыхалова и Геннадия Скарлыгина, интересно представивших творчество наших классиков XIX и XX веков, исполнил свои талантливые произведения на стихи томских поэтов композитор и вокалист Андрей Груздев. Директор областного Дома искусств Ольга Ильина рассказала о совместных проектах Дома искусств и творческих союзов.

Вечером в центральной библиотеке города состоялся концерт под названием «День искусств в Стрежевом». Библиотеке были подарены журнал писателей «Начало века» и книги. В этот же день поэты Вениамин Колыхалов и Геннадий Скарлыгин ещё провели мастер-класс с начинающими поэтами и прозаиками «нефтеграда». По итогам мастер-класса и родился этот цикл произведений стрежевчан.

Сегодня мы печатаем в рубрике «Литературная учёба» лишь одного автора. Другие участники мастер-класса будут представлены в следующем номере журнала.

Олеся ГОРГОРОВА

ФАНТОМНЫЕ БОЛИ

1

События, произошедшие много лет назад, она называла «дела старой жизни». Люди, которые остались в тех житейских картинах, тоже находились под грифом «из прошлой жизни». Не то чтобы она отказывалась или отрекалась от минувшего, ушедшего – нет. Но многое из того времени настолько не соответствовало её нынешнему мировоззрению, теперешней системе ценностей, что за многое было стыдно и мозг отказывался вспоминать; в чём-то она каялась горячо и слёзно мужу, размазывая всё, что лилось из глаз и носа, по лицу. Каялась на исповеди... и отодвинула ту жизнь за грань, за дверь. И замок повесила. Иногда, правда, выплывали в памяти образы. Разные – приятные, и не очень. И те, которые вызывали смех. И те, милые, что вселяли умиротворение. И те, грязные, которые, придя, поганили весь день, и он превращался в кошмар.

Но было в «той жизни» два-три человека, которых не хотелось «за дверь». Время от времени проскальзывали они в мысли, просачивались в замочную скважину: ситуации, лица, голоса, прикосновения, запахи, звуки. И становилось тепло. И в горле чуть обозначался комок. И в груди растекалась нежность, и такая сладкая ноющая боль ощущалась вполне физически там, где сердце. Этого человека она припоминала совсем редко, раз в несколько лет – как бы на десерт, в такие моменты,

когда никто не мог потревожить, отвлечь, нарушить воспоминание. В те минуты было ощущение чего-то своего, кровно родного, тайного и сладкого. Иногда думала, не найти ли его в интернете, узнать, как складывается жизнь... нет, не решалась. Когда же виделись в последний раз? Вспомнить бы... Это было до встречи с мужем... до... и до... 2000 год. Прошло 18 лет.

Впервые за эти годы она всё-таки решилась внести имя и фамилию в строку поиска сети интернет. Почему? Непонятно совершенно. Ни внешних, ни внутренних предпосылок к тому как будто не было... В тот день, как уже почти стало нормой, настроение было «не фонтан». Работа – не творческая. Перспектив – никаких. Все так называемые таланты оказались не востребованы. Мечта детства о получении заветной профессии сбылась, но в оркестр попасть так и не удалось. В том городе уже были арфистки во всех коллективах, где только они нужны, и ещё одна оказалась лишней. Только вроде всё пошло в гору в одном джаз-бэнде, и даже начала учиться снова, осваивать новые инструменты... Но семья была вынуждена переехать в далёкий маленький городок на Дальнем Востоке, выезжать из которого на гастроли, репетиции было безумием. Рождались дети – их было уже четверо. И, конечно, им нужно внимание: учить, лечить, жалеть, воспитывать. Уже в который раз она делала выбор в пользу семьи. Мучительный, не безоговорочный выбор. Трудно отказываться от мечты всей жизни. Что касается денег, то их приносил в дом один папа, конечно, их катастрофически не хватало: платить ведь нужно везде – и в школе, и в саду, и за кредиты и маленькую дачку и машинку, которая вечно ломается. Влажный, ветренный, холодный климат не щадил здоровья – болела семья часто, долго и дорого. Выезжать в тёплые края погреться – было ещё одним безумием. Так крохотный городок стал их судьбой, закрытым пространством, почти клеткой. Всё это не настраивает на оптимистическое отношение к жизни, прямо скажем – угнетает.

И почему-то именно в этот момент посреди ночи, с кружкой горячего лимонного чая под рукой (снова грипп), она уселась перед компьютером и вспомнила о нём. Это был момент, когда подумалось, что вот у него всё хорошо и как это чудесно. У такого человека не может быть что-то плохо или не так, как он мечтал. Вот интересно, что он танцует в областном театре оперы и балета (мечтал о Спартаке), куда ездит на гастроли (ругал Японию, страстно хотел в Европу), сколько у него детей (хотел много – минимум троих). Хотелось узнать о человеке, который сумел построить жизнь так, как он мечтал, много работал и много получил, многим пожертвовал ради мечты, но и осуществил её. Обычно это вселяет надежду на то, что ещё всё будет хорошо, всё ещё состоится. Впервые за 18 лет эти мысли привели к тому, что она начала искать. Услужливая система выдала несколько ссылок, реагируя на данные, но всё это был НЕКРОЛОГ... Он погиб... 12 лет назад! «Да как так-то?» Это значит, когда мы уехали из города – его уже не было... Когда родилась моя младшая дочь – его уже не было... Когда родились средние дочки – его уже не... Даже когда старшему сыну было чуть больше полугода – его уже... Да как так-то??? Мозг отказывался вмещать эту мысль. Организм упрямо, отчаянно отторгал боль. Но рыдания прорвались непроизвольно, дыхание стало глгучим, она стала задыхаться. Начинаясь приступ. Рука сама потянулась за таблетками.

Он словно был частью её самой. Как ухо, колено, самый малый пальчик или крохотная клетка, но своя, родная и – живая! Не замечаешь её, пока не заболит. Далёко, но пульсирует. Она есть – и тебе хорошо и спокойно. О ней не надо заботиться. Она твоя. И даже если находится в самом укромном, далёком уголке тела

– она всё равно твоя. А теперь, когда она умерла, тело ощутило утрату, недостачу, и взвыло от ужаса. Фантомные боли – так врачи называют феномен, при котором у человека, потерявшего руку, ногу, палец, есть устойчивое ощущение, что отнятая конечность болит. Болит явно, нестерпимо, больной чувствует руку, её размеры... Она реально болит, хотя на самом деле её нет... Вот так и Он – его давно нет здесь, а его отсутствие в этой жизни – боль. Фантомная боль...

2

Она сидела на ступеньках у входа в супермаркет «Штиль». Затянута в любимые (потому что единственные) джинсы и белую футболку. Облегающая одежда обнаруживала худощавое телосложение, торчащие там и тут косточки. Это худоба, которая выдаёт истощение. Прохладный летний ветерок (жаль, что не морской штиль) обдувал открытые руки. Лицом она уткнулась в подобранные колени. Было зябко, морозило, вернее, даже слегка лихорадило... И не только от прохлады. Ступеньки холодные, жёсткие. Сидеть на них было твёрдо, кости упирались в мрамор, но она этого не замечала. Сжалась в комочек и сидела, потому что не было сил никуда идти, да и некуда, и не к кому. В клетку съёмной однушки на пятый этаж страшно: боялась выпасть из окна...

Вокруг суетилась жизнь. Даже поздно вечером, почти ночью, здесь – на крыльце круглосуточного магазина. Боковым зрением она видела только ноги. Они сновали туда-сюда снова и снова, входили, выходили, шаркали, стучали металлическими набойками каблучков, шлёпали сланцами и вьетнамками. Вот ещё одна пара ног... им есть куда идти, для кого купить еды, приготовить ужин, их кто-то ждёт, наверное. Нет, точно ждёт. А иначе зачем тебе еда... Вот ещё пара ног шагнула на ступеньки, притормозила, повернувшись носками к ней, мгновение и – тоже зашла в «Штиль».

Она ненавидела этот магазин. Ненавидела всем своим существом. Обычно денег у неё не было. Она почти ничего не ела и потому была не просто худая – тощая. Когда она приехала учиться в большой чужой город, было страшно. Сначала поселилась в общежитии, но потом всё сложилось так, что жить стало нелегко. Пришлось снять квартиру. Самую дешёвую, без ремонта, под самой крышей хрущёвки, с продуваемыми окнами, щелями, которые могли пропустить, кажется, слона. Во всяком случае, смотреть на улицу можно было не только собственно в окно, но и подглядывать за миром в эти щели-скважины. Денег, что высылали родители-пенсионеры, не хватало и на половину оплаты жилья. Юноша, с которым она жила, от которого ожидалась помощь, поддержка, участие, честно сказал, что «приехал в этот город учиться», и подрабатывать не собирается. А если девушку что-то не устраивает, он – красивый и свободный – запросто может уйти, ему ведь всё равно где жить, что есть, что носить, с кем спать, его цель – получить профессию. Любой ценой. Только цену эту платила она.

Когда нечего было есть, нечем платить за квартиру, она ехала к любовнику. Не то чтобы он был богат – нет. Но жил в достатке, любил красивых девушек, и платил им, если считал, что они того стоят. Ей он хорошо платил. За то, что она приезжала, была красива и безропотна. Как только она появлялась в дверях его квартиры на самом краю мегаполиса, он вёл себя как брат, отец – то есть кормил, спрашивал, как дела, участливо выслушивал, заботливо подкладывал в тарелку добавки. Потом они смотрели телевизор, обсуждали новости, и она втайне надеялась «а может, ничего не будет... а...». Но было. Всегда было то, за что он платил. Ночью он вёл

себя словно любящий муж... Засыпая, говорил хорошие слова, а утром давал денег и продуктов. А она... ей было нестерпимо стыдно. Она плакала. Часто. В душе под тёплыми струями воды «до» и «после», в автобусе ранним утром, возвращаясь к юноше, который «приехал, чтобы учиться». Конечно, любовник с окраины города видел заплаканные глаза, растерянный взгляд, вынужденную покорность в теле, но, как ему казалось, он делал всё, чтобы ей было хорошо, и не понимал, почему она плачет. Приятельница, которая сыграла в этой истории роль сводницы, прямо глядя в глаза, сказала: «Я не знаю, проституция ли это, потому что это один человек, и он хороший. Тебе же надо на что-то жить. Смотри, подохнешь ещё с голоду или от пневмонии твоей...». Разговор состоялся на пике болезни, когда она и правда повисла между жизнью и смертью. «Хороший человек»... Что они знали о хороших людях... Ещё ничего...

Из автобуса ранним утром она неизменно выходила на остановке у супермаркета «Штиль», стремительным шагом носилась по всем коридорчикам между стеллажами, набирая еду. Покупателей в это время практически не было, и это почему-то помогало ей. Делать покупки разумно она ещё не умела, а потому обычно в тележке оказывались полуфабрикаты, вкусности, сладости. Пакеты затаскивались на пятый этаж, и она, встав на колени перед кроватью, в которой всё ещё сладко спал юноша, тихо шептала: «Доброе утро. Вставай, я тебе вкусенького принесла». Он разлеплял сонные глаза, удовлетворённо произносил: «Кормилица моя», улыбался, потягивался, и через десять минут, сидя за кухонным столом, съедал половину из супермаркетовских пакетов. Она молча пила чай. За всю ночь не удалось и подремать, веки двигались, словно по горячему песку, и, кажется, царапали глаза изнутри. Есть не хотелось. Тошнило. Она думала: «А если он узнает, чем заплачено за эту еду, что он скажет... Мне думается – даже не поперхнётся...»

Так «Штиль» стал магазином, который и не подозревал, сколько ненависти испытывает к нему самая ранняя покупательница. И ведь почему-то именно здесь её ноги подкосились в тот вечер, и она не смогла идти дальше. Полчаса назад юноша сказал что-то очень обидное, что-то такое, от чего стало ясно: он живёт с ней только потому, что ему тут хорошо, тепло, сытно, а больше ему ничего и не надо, ведь он «приехал учиться». Хлопнул дверью. Ушёл. Пустота зазвенела... Барабанные перепонки, казалось, лопнут от этого нестерпимого звона. Виски готовы были взорваться. Он ей нравился, наверное даже, она любила. Готова была на всё, чтобы только он был рядом. Совсем на всё... А теперь он ушёл.

А ведь она тоже приехала из маленького городка – трудиться, чтобы сбылась мечта, и она, эта мечта, уже была в процессе «сбытия». Но потом оказалось, что негде жить, потом – что нечего есть, зато есть он – родной человек, и за него надо держаться (мама сказала: «Вы ведь из одного города – не упускай его»). Слова мамы действовали как сильнейший гипноз, и даже если она была не согласна, сопротивлялась и ссорилась, поступить иначе всё равно не могла. Даже в 22 года! Потом оказалось, что он – «сынок», его надо учить, кормить, одевать, лечить. Её же проблемы не интересовали никого. Ремонт, борьба с огромными чёрными пауками, которые были в квартире хозяевами, прочистка засоров, стирка-глажка-готовка и добыча денег и еды – всё легло на неё. И она старалась. Очень старалась, как могла, не забывая между тем, что приехала в город своей мечты – учиться любимой профессии. Нагрузка оказалась непомерной. Через пару месяцев она слегла с воспалением лёгких. От госпитализации пришлось отказаться – кто её будет кормить там... дома хотя бы чаю можно выпить, иногда даже с сахаром. Из консерватории никто не

пришёл навестить ни разу, а болезнь затянулась надолго... Лечиться пришлось три месяца, да так и выписаться с температурой: под свою ответственность. Врачи не знали, чем ещё полечить, какие антибиотики назначить, и почему полного выздоровления так и не наступает. Юноша приходил с учёбы так поздно, что сразу отправлялся спать. Говорил: «В институте пришлось задержаться»... до 10-11 вечера. (Позже выяснилось – курс отпускали в те месяцы не позже шести...) Всё это она проглотила молча – она же сильная, нестигаемая, у неё есть цель. К тому же устраивать сцены выяснения отношений совершенно не было сил. Надо было наскрести остатки воли, мужества и сдать переводную сессию. И она сдала, хотя и пришлось пару дисциплин перенести на осень.

И вот сидит она, сдав последний летний экзамен, выдохшись абсолютно от нескончаемого марафона и предательства, у супермаркета «Штиль»... И – ничего... пусто... гулко... а для чего всё... А жизнь – она вообще зачем?.. А мечты – это ведь ложный путь. Если ты никому не нужен, если тот, кого считал близким – просто пользователь. Только вещь становишься – ты сам... И вот так сидишь, и холодно, и вокруг только ноги, ноги, ноги... и все мимо, мимо... А! Нет. Одна пара ног на мгновение задержалась – любопытство. Через несколько минут именно эти любопытные ноги в чёрных замшевых туфлях, выходя из магазина, остановились рядом, присели тут же на ступеньку. Появилась рука, протянула открытую бутылку джина, прозвучал голос: «Привет. Что случилось?». Она не удивилась. Оцепенение не прошло и когда ледяная бутылка обожгла пальцы, когда был сделан первый глоток, и в пересохшее горло полилось прохладное, сладкое и немножко хмельное. «Меня зовут Денис. Пойдём, прогуляемся».

3

Денис – имя, которое она не воспринимала как имя никогда... Был такой ряд имён, которые были не понятны, это Вадим, Вадик, Виталя, и – Денис... Непонятно, почему эти имена попали в разряд опальных. То ли оттого, что в ласкательную форму их неудобно изменять: Вадимчик? Виталик? Денисик? А отчество от них: Вадимовна, Виталиковна, или Витальевна – в общем, коряво. Но вот человек – Денис... Тут, рядом, и говорит что-то. Да ещё совершенно не в её вкусе: не блондин, не сероголубоглаз, не высок, не худ. Однако веяло от него таким теплом, желанием проявить заботу, спокойствием, тишиной, уверенностью, что хотелось прилипнуть и не отлипнуть. Никакого романтического флёра, бесед из разряда «залезть под шкуру», но что-то простое, тёплое и настоящее было в этом человеке. Совсем молодой – чуть за двадцать, талантливый, влюблённый в свою профессию, вернее – живущий, дышащий только ею. Крепкие плечи и нежные руки, кудрявые мягкие волосы – но об этом она узнает позже. А в тот вечер после выпитого джина он повел её в пиццерию, и она, впервые за много месяцев, сытно и вкусно поела. Спокойно, с удовольствием, без подступающей тошноты стыда, и потому – так вкусно!

Он проводил её домой, когда почувствовал, как она устала и хочет спать, когда понял, что ничего страшного она уже не совершит. И правда, дома она мгновенно отключилась, стоило только нырнуть под одеяло. И улыбалась... утром – тоже. На следующий день они встретились как бы случайно, и снова гуляли. Однажды он пригласил её к себе домой – на минутку. Это было простое холостяцкое жилище. Да, здесь не было милых женскому сердцу штучек, сувенирчиков, вообще ни одного лишнего предмета. Но безупречно чисто, даже пол, окна и посуда. На кухне под самым потолком тянулись длинные узкие полки, на которых красовались

расписанные тарелки. Разные, на особых подставках и необычные, экзотические. Она подумала: пылесборники, зачем они... Он ответил на её мысли: «Часто езжу на гастроли, привожу маме необычные тарелки из разных стран. Она любит красивую посуду». Как резанули эти слова где-то в груди, как сладко заныло под ложечкой: «Он заботится о маме! Он помнит о её вкусах и хочет сделать приятное! То есть бывают всё-таки в мире мужчины, которые помогают, балуют, и просто любят...». Это было непостижимо. До сих пор она таких не встречала. Виду, конечно, не подала – привычка. Установка «мои проблемы – это мои проблемы, я всё решу сама» срабатывала всегда безотказно. Чему она виртуозно научилась за свою жизнь, как потом, спустя много лет, скажет её психолог, так это скрывать свои чувства. Она скрыла и в этот раз. Ничего не спрашивала вслух, а он рассказывал – просто, без азарта произвести впечатление, что квартиру ему снимает театр, а мебель купил он сам, что хочет потом купить машину, и мечтает о собственной семье, в которой будет много детей. Сейчас такие речи подкупили бы её женское нутро, а тогда – отпугнули. Она хотела построить умопомрачительную карьеру, стать богатой и знаменитой, семья её интересовала только с точки зрения сопутствующего обстоятельства, да чтобы было кому и дома петь ей дифирамбы. Он же оказался неизмеримо взрослее, мудрее, добрее и просто благороднее. Ни «кофе», ни «давай посмотрим миллион моих фотографий» – ничего, а натяжение незримых нитей между ними всё росло.

4

Краткий некролог в интернет-ссылке вмести историю гибели Дениса, рассказы друзей о его словах, мечтах, планах. Здесь же его будущая жена рассказывала все подробности трагедии, ведь он погиб у неё на глазах... Много написано было о таланте, о том, что со всей Сибири ценители балета ехали на спектакли, в которых именно Денис танцевал главные партии. Она читала это всё и плакала... А память выживала из периода 18-летней давности взгляды, случайные прикосновения рук во время прогулки, оброненные слова. Крохотные фрагменты, бытовые мелочи врезались в память, потому что никто никогда о них не думал. В 20 лет не понимаешь, что жизнь состоит из мельчайших деталей, из песчинок. Хочется, чтобы с тобой произошло что-то чудесное, сказочное, совершенно невероятное. А на деле потом с улыбкой и слезами вспоминаешь, как человек, которого ты едва знаешь, но который спас тебя от чего-то страшного, покупает несколько разных видов мороженого, потому что не знает, какое ты любишь, и, распахнув пакет, просто говорит: «Выбирай». И ты не выбираешь, а берёшь первое попавшееся, потому что тебе всё равно, какое мороженое есть. В этот момент ты умираешь от счастья, что о тебе заботятся: значит, ты всё-таки чего-то стоишь. И потом, ты не ела мороженого много месяцев, и благодарность заполняет тебя всю. Или он идёт в парикмахерскую стричься, а тебе не хочется с ним расставаться, и ты идёшь вместе с ним и стрижёшься в соседнем зале, и выходите вы красивые и сияющие. Он смотрит на тебя, и просто рад, что ты улыбаешься. Он этого не говорит. Он сияет...

Александр Казаркин

ОДЕРЖИМЫЙ

(К юбилею А. И. Солженицына)

Его называли заступником провинции. Ещё до изгнания, в «Письме вождям», он предложил «перенести центр государственного внимания и центр национальной деятельности (центр расселения, центр поисков молодёжи) с далёких континентов и даже из Европы, и даже с юга нашей страны – на её Северо-Восток». Начинать восстановление народа из провинции. Остановить опустынивание Сибири. Северо-Восток – последняя надежда. И этот призыв у иных вызывает раздражение: да кто, мол, он такой, чтоб учить нас, «как нам обустроить Россию!» Для меня юбилей Александра Солженицына – повод для тревожных раздумий. Может статься: провинция опять проглотит язык, как не заметила она столетие революции.

Писатель родился в год начала Гражданской войны, и со временем осмыслил это как своё предназначение. Так говорили только религиозные подвижники: «То, что я наметил, я выполню. Меня запугать нельзя. Я умирал на войне, от голода в лагере, я умирал от рака. Я смерти не боюсь и ко всему готов». Выполнена ли миссия? В последнем интервью, в 89 лет, он признался, что мечтал о другой России. Мог сказать о себе: Россию восстанавливаю. А сказал, что нынешняя страна «и по государственному устройству, и по общественному состоянию, и по экономическому состоянию весьма далека от того, о чём я мечтал». Итоги века назвал провальными: «...сейчас – все голодны, больны, в отчаянии и в полном непонимании: куда же их завели?».

Прошло десять лет со дня смерти писателя и, похоже, гаснет интерес к нему. Есть кипящие чёрной злобой: «литературный власовец», «классик лжи и предательства». Вы думаете, они клеветают только на Солженицына? Нет, они идут с дреколем против новой России, не дают обсуждать национальную идею. Что им полвека работы над большой книгой признанного прозаика, лауреата Нобелевской премии. А спросишь преподавателей, даже вузовских, – в ответ застенчивое молчание.

Первые книги 30-томного собрания в свет пошли ровно через семьдесят лет после начала работы над темой революции. Новое в собрании: «Дневник Р-17» – записи по ходу работы над «Красным колесом», «Литературная коллекция» и новая, третья книга воспоминаний («очерки возвратных лет») «Иное время – иное бремя». «Красное колесо» – в новой редакции, последней.

Поняла ли Россия Солженицына как художника? Вызов Левиафану заслужил для большинства романиста, а критики-либералы поспешили заверить: ничего интересного, поэтика позапрошлого века. Оценки кричаще несовместимые. О чём говорят они? Насколько же мы, русские, расколота нация! Спор надолго, может быть, только начинается. Но есть неперемное условие, выска-

занное Пушкиным: воспринимать автора по законам, им для себя принятым. Иначе мы с ним просто не встретимся. И потому надо нам заглянуть в цикл «Литературная коллекция».

В предисловии к нему автор уведомляет: «После моих 70 лет найдя наконец первый досуг от сбора материала для «Красного колеса», я стал перечитывать некоторых писателей или отдельные произведения русской литературы XIX и XX веков. И вскоре испытал потребность записывать свои обновившиеся впечатления». В обстановке «крутых 90-х» на «Литературную коллекцию» не обратили внимания, цикл не был издан отдельной книгой и в литературной борьбе грани столетий заметной роли не сыграл. Но этот текст даёт представление о философских взглядах писателя, об эстетических пристрастиях.

Установка: «войти в душевное соприкосновение с избранным автором», «оценить, насколько он свою задачу выполнил». А для этого – увидеть его в раме эпохи. Свою же *историческую задачу* писатель видел ясно: «Я развёртываю «Красное колесо» – трагическую историю, как русские в безумии сами разрушили и своё прошлое, и своё будущее...». Ещё в начале восьмидесятых писатель предвидел прорыв «плюралистов»: «... но вдруг отвалились завтра партийная бюрократия, и разгромят наши остатки ещё в одном феврале, в ещё одном развале». Некоторые считают: предвидел эту *катастрофу* – вся его заслуга. Нет, прояснил задачу: найти смысл в двойной русской катастрофе. Тут, понимаешь, идёт он по минному полю, и стреляют с обеих сторон.

Критические заметки А. Солженицын писал ещё до высылки из СССР. Книга «Бодался телёнок с дубом» имеет подзаголовок «Очерки литературной жизни», а следующая, «Угодило зёрнышко промеж двух жерновов», – «Очерки изгнания». «Плюралистов» (в их числе Вл. Лакшин) возмутил нарисованный прозаиком портрет Твардовского («слишком много захотел я от Твардовского», он «отстал от задачи»), и позднее смягчил он оценки: «Лишь теперь, после многих годов одиночества – вне родины и вне эмиграции, я увидел Твардовского ещё по-новому. Он был – богатырь, из тех немногих, кто перенёс русское национальное сознание через коммунистическую пустыню». Но, при всём его красном патриотизме («Чистый марксизм-ленинизм – очень опасное учение, его не допускают»), находим у Твардовского едкую заметку: «По должности «партийное» искусство – прибежище всего самого подлого, изуверски-лживого, своекорыстного, безыдейного по самой своей природе (Вучетич, Серов, Чаковский, Софронов, Грибачёв)». Полное согласие с Солженицыным! И тут, наверно, причина выпадов автора «Красного колеса» против Шолохова. Которые Солженицыну, конечно, не делают чести: поддался провокации со стороны либералов, травивших Шолохова с кукишем в кармане. Потом этот же напуск обернулся против него самого: «Произведения Солженицына не написаны одним пером. Они носят на себе следы трудов многих лиц разного писательского вкуса и склада, разных интеллектуальных уровней и разных специальностей» (Н. Ульянов «Загадка Солженицына»). Не может-де один человек столько написать, тут нужна команда! Непредставима такая самоотдача! А крайняя оценка М. Шолохова («По донскому разбору»), она понятно, откуда: из несовместимости двух обликов писателя. Один создал роман-трагедию о Гражданской войне,

другой потребовал: «Не допускать Солженицына к перу!». До такого не дошёл даже пресловутый Фаддей Булгарин. В представлении многих галерею прозаиков советской эпохи «огораживают»: слева – Шолохов, справа – Солженицын. Пусть так, примем их художественное равенство при несовместимости идей.

Основа «Литературной коллекции» – борьба за русскую традицию. Чуть раньше на книгу А. Синявского «Прогулки с Пушкиным» бывший зэка Солженицын откликнулся статьёй «Колелет твой треножник». Возмутился тем, что о национальном гении Терц-Синявский говорит развязно-игровым стилем, не к месту применяет блатной жаргон. Эротоман, далёкий от бед страны, «кудрявая болонка», будто бы смирившаяся с тиранической властью, – таким нарисован Пушкин. Разрывом закончилась полемика с А. Сахаровым: «Дождалась Россия своего чуда – Сахарова, и этому чуду ничто так не претило, как пробуждение русского самосознания!». По Синявскому и Сахарову, за все вывихи XX века отвечает Россия. По Солженицыну, русское не совместимо с советским, оно и стало первой жертвой революции.

Выберем простой путь обзора цикла – от классики к современности. «Окунаясь в Чехова» – статья говорит о новом прочтении классика в свете собственного опыта. «А общий образ Чехова – какой светлый! какой нежный!» И тут невольно вспоминаешь: «Если бы чеховским интеллигентам, всё гадавшим, что будет через двадцать – тридцать – сорок лет, ответили бы, что через сорок лет на Руси будет пыточное следствие, будут сжимать череп железным кольцом, опускать человека в ванну с кислотами, голого и привязанного пытаться муравьями, клопами, загонять раскалённый на примусе шомпол в анальное отверстие («секретное тавро»), медленно раздавливать сапогом половые части, а в виде самого лёгкого – пытаться по неделе бессонницей, жаждой и избивать в кровавое мясо, – ни одна бы чеховская пьеса не дошла до конца, все герои пошли бы в сумасшедший дом» («Архипелаг ГУЛАГ»). В глаза бьёт темперамент борца: Солженицын – критик пристрастный, путь каждого художника он сопоставляет со своим, что ни говори, исключительным.

Итак, двигаемся по десятилетиям XX века. «Петербург» Андрея Белого», «Голый год» Бориса Пильняка», «Награды Михаилу Булгакову при жизни и по-смертно», «Из Евгения Замятина», «Леонид Леонов – «Вор». Все проблемы стягиваются к главной – русская революция, её истоки и последствия: «Сотрясающая революция, прежде чем взорваться на улицах Петрограда, взорвалась в литературно-художественных журналах петроградской богемы». Отсюда оценка манеры Андрея Белого: «слишком взбрызчив и неуравновешен», «в самих его безудержных фантазиях – нездоровость, умственный сдвиг». И вывод, что называется, крайний, не диалогичный: «Сегодня эта книга – экспонат литературного прошлого, для знатоков и гурманов». Тут – попутное, неожиданное, сопоставление: «Достоевскому как будто противопоказано понять и передать насквозь душевно здорового человека, или такой ему неинтересен? По этому контрасту теперь понимаю, почему я всю юность и до тюрьмы отталкивался от Достоевского». Вот тебе на: «отталкивался»! Аналитики же шустро выискивают черты влияния. А ведь не случайно второе открытие Достоевского – заслуга модернистов: они нашли своё, близкое. Андрею Белому тоже неинтересен герой

без душевных «загогулин». Тут, конечно, не только психология творчества, но и видение человека. Петербург Белого населён психически нездоровыми людьми, и заняты они исключительно теософскими пророчествами.

О судьбе Булгакова, об изуверски-невменяемой критике советской и вяло-эклектичной послесоветской – одна из лучших статей в обширном булгаковедении. Заключительный тезис статьи говорит о причастности Солженицына к критике религиозного направления: «А самой-то главной загадки романа – почему, из чего у Булгакова родилось такое кардинальное отклонение от евангельской истории, до переоборачивания её духовного смысла? – этого атеистическая, из советского праха выросшая критика даже и не потянулась поднять».

«На высоте задачи» в XX веке, на взгляд писателя, были не многие: Булгаков, Шмелёв, Астафьев и Распутин. Об исторической прозе Юрия Тынянова и Марка Алданова критик говорит, имея в виду собственный опыт – роман «Красное колесо». Об этом речь идёт в статье «Приёмы эпоса»: «Полифоничность, по мне, метод обязательный для большого повествования». И резюмирует: её-то как раз недостаёт Тынянову, Алданову и Гроссману. Значительные огрехи находит он у Леонова: не справился с заказом времени. Солженицын-критик скуп на похвалы, а в статье «Леонид Бородин «Царица смуты» дал восторженный отзыв. Да, взгляды обоих прозаиков на три русских смуты совпадают буквально.

Почти все заметки остались незамеченными, а вот статья «Иосиф Бродский. Избранные стихи» вызвала многочисленные резкие отклики. О чём это говорит? Критик «беспардонно» прикоснулся к культуре: заявил, что это ложный кумир. Апологеты Бродского доказывают, что его мировосприятие глубоко трагедийно. А писатель-критик усмотрел в книгах поэта поклонение небытию. Известно обобщение Бродского: «Искусство подражает смерти». Всегда и всякое? Изначально боролось со смертью, а теперь – подражает ей... то есть мертвит? Всеохватная ирония перешла в мироотрицание («он смотрит на мир мало сказать со снисходительностью – с брезгливостью к бытию»). В своё время Блок предостерег против этой «падающей иронии гибели». Формальное мастерство, бесспорное, не искупает пороков «расчётливо сделанных» стихов, переходящих «в интеллектуально-риторическую гимнастику». А вот прочной связи с родным языком у поэта, по Солженицыну, нет. И больше всего раздражает критика безразличие к национальному образу мира. Хуже того, родной язык – это тёмный рок. В предисловии к изданию «Котлована» Бродский сказал о «внеличном, фольклорном и мифологичном языке Платонова», языке нации, «ставшей жертвой этого языка». Язык наш – губитель, виновник русских невзгод!? Тут игра становится зловещей. Солженицын выразил своё отношение к Платонову по-толстовски просто: если бы ему разрешили взять в путешествие единственную книгу, он взял бы «Котлован».

Вл. Уфлянд писал когда-то: «Иосиф Александрович Бродский и другой нобелевский лауреат Александр Исаевич Солженицын символизируют современную русскую литературу в представлении всего культурного мира». Если так, то это два полюса её. Самим-то лауреатам-антиподам такое равенство не по душе. Бродский не скрывал свою неприязнь: «То, что говорит Солженицын, – монструозные бредни. Обычная демагогия, только минус заменён на плюс. Как по-

литик он – абсолютный нуль». Солженицын: «Бродский прошёл мимо России. Что ж, Бог даст – и она не оглянется на него». В мире Бродского нет места гражданскому подвигу. Творчество он объявил частным занятием, а Солженицын одержим высоким служением. Но не станем скрывать: Бродский породил в России легион эпигонов. Значит – выразил атмосферу эпохи, что, конечно, значительно. Лев Лосев итожит: «Обращения Александра Солженицына, потрясшего мир «Одним днём Ивана Денисовича» и «Архипелагом ГУЛаг», не оказали большого влияния на настроения западной интеллигенции, а с мнением Бродского считались».

Не обинуясь, автор «Красного колеса» защищал идею служения: «Я вырос в сознании, что писатель не смеет отдаться полностью своим художественным прихотям», постмодернизм назвал «нравственной болезнью», «опасным антикультурным явлением». Адепты постмодерна его самого тянут в этот стан (Андрей Битов и Лев Лосев). Им кажется: осовременивают, приближают к молодому читателю. А Солженицын говорит с отвращением: «Стыдно за такую «свободную» литературу, невозможно её приставить к русской прежней. Не станова, а больная, мертворождённая... Но вот ужасная мысль: да не модель ли это будущей «свободной литературы» в метрополии...». Именно так: очередное западное поветрие.

Но всегда ли последователен критик Солженицын? Всегда ли хвалит только тех, кто на высоте эпохальной задачи? Он рекомендовал комитету по Нобелевским премиям В. Набокова. «Я жалел, что не увиделся с Набоковым, хотя контакта между нами не предвидел. Я всегда считал его писателем гениальным, в ряду русской литературы – необыкновенным, ни на кого не похожим» («Угодило зёрнышко...»). Но так ли уж далёк Набоков от Бродского? Не одно ли направление-то? Эти литературные столпы глобализма уверяют нас, что «русопятство» – порождение тоталитарного режима. То есть: большевизм – выражение национального наследия, а не враг его?!

Солженицына упрекают в презрении к западной демократии. На мой взгляд, он исходит из верховной ценности веры и порицает не суть демократии, а её фантомы. Оценки его порой чрезмерно категоричны: «диссидентское движение, не захваченное вопросами национального бытия, оказалось сходящею пеной. На соблазне эмиграции диссидентство поскользнулось и кончило своё существование».

Сравнение Шмелёва с Буниным оказывается в пользу первого: «И вот досталось нескольким крупным русским писателям после раздирающих революционных лет да окунуться в долго-тоскливые и скудные годы эмиграции – на душевную проработку пережитого. У иных, в том числе и у Бунина, она приняла окраску эгоистическую и порой раздражённую (на этакий недостойный народ). А Шмелёву, прошедшему и заразительное поветрие «освобожденчества», потом исстрадавшемуся в большевицком послеврангелевском Крыму, – дано было пройти оживленье угнетённой, омертвелой души – катарсис». Думаю, не многие согласятся с такой оценкой. Разве Бунин не говорил о национальной катастрофе? Ещё как, и ярче, и глубже Шмелёва: «Была Россия, был великий, ломившийся от всякого скарба дом, населённый огромным и во всех смыслах

могучим семейством, созданный благословенными трудами многих и многих поколений, освящённый богопочитанием, памятью о прошлом и всем тем, что называется культом и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за свержение домоправителя полным разгромом буквально всего дома и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-кровавым балаганом, чудовищные последствия которого неисчислимы и, быть может, веки непоправимы» («Миссия русской эмиграции»).

Солженицына пытаются вписать в какое-либо литературное течение, но он сам задаёт направление, ясно, какое, – консервативное. В центре его внимания почвенники–традиционалисты («деревенщики»). Себя отнёс он к этому направлению, и они, встречно, признали его *своим*. «На рубеже 70-х и в 70-е годы в советской литературе произошёл не сразу замеченный, беззвучный переворот без мятежа, без тени диссидентского вызова. Ничего не свергая и не взрывая декларативно, большая группа писателей стала писать так, как если бы никакого «соцреализма» не было объявлено и диктовано <...> эту группу стали звать деревенщиками». Центральной фигурой в этой когорте писатель-критик представил Распутина. Этот тезис развёрнут в очерке «Василий Белов» и в заметке о Викторе Астафьеве.

С удивлением говорит критик об Астафьеве-баталисте: «Через сколько миллионов убитых надо было выжить этому солдату, чтобы вот такое написать нам спустя полвека!». Этот «одноглазый инвалид, далёкий от успешных столиц», «не припоминает слова, они сами живорождённые выныривают к нему, как безошибочно ожидаемые им рыбины – и приходится к месту». Взгляд Астафьева на современность стал в конце его жизни безотрадным: «Горек мой вывод, горек тем более, что на моих глазах лучшая часть нашего общества разрушилась, погибла в голоде, войне, преобразованиях и непосильном труде ради худшей, ничтожной части своей». Здесь – полное единство с Солженицыным-публицистом. Традиционалист-сибиряк заговорил о духовной необеспеченности второй революции – научно-технической: «Одного животного желания – жить, сжигая зелёную красу в смердящих трубах, – недостаточно, да оно, нынешнее человечество, и недостойно памяти того человека, который жил до нас».

В. Распутин также понимал XX век как цепь экспериментов над природой и народом: «...научно-техническая революция свершилась у нас на слабой, полупогребённой духовно-исторической почве, в беспамятном энтузиазме». Его «последние вопросы» близки Солженицыну: «И до каких же пор мы будем сдавать то, на чём вечно держались?». Духовной трезвости требовал он и в отношении к русской истории в целом. Высоко оценил писатель-критик вклад В. Распутина: «не пользователь языка, а сам – живая непроизвольная струя языка». Он «выполняет главную задачу русского писателя в наше время, и в его мире явственно видны «просветы метафизических сил». Я понимаю солженицынское предостережение так: беспочвенность – главное искушение новейшей литературы.

Исходный вопрос: был ли автор «на высоте задачи», всё ли сделал для решения её. Метод Солженицына-критика я (для себя) понимаю простецки: на месте этого автора он сделал бы вот так. Это видно, если поставить рядом очерки о

баталистах – В. Гроссмани и Г. Владимове. И все замечания мы понимаем как отблески «Красного колеса». Как художественное единство, как сквозной сюжет романы и повести Солженицына ещё не прочитаны. Но время монографий пришло.

В Книге «Соляной столп» (Париж, 1992) Эмиль Коган, опередив Жоржа Нива, сказал о главном романе Солженицына как о неудаче: «Его эпический мастодонт страдает всеми слабостями гигантизма». Обоснования оценки нет. Наиболее основательной кажется книга Ж. Нива «Солженицын. Борец и писатель»: творческий путь прозаика в ней прослежен через тексты, а не наоборот, как часто бывает. Свою статью 1999 года французский критик назвал: «Антиэпопея «Красное колесо». Он называет роман-эпопею *гениальной неудачей*: «Гигантское «Красное колесо» в каком-то смысле вертится вхолостую... Тема разрушила текст; за хаосом истории пришёл хаос повествования. Роман Солженицына всегда хотел быть чем-то отличным от романа – поисками смысла, наукой о спасении. И вот он мёртв... мысли пожрали Солженицына». То есть – исследователь подавил художника? Но десятилетняя документально-историческая эпопея была переработана, удалены сотни документальных вставок. Критика этого пока не заметила. Некоторые положения исследователя-слависта озадачивают: «Подлинную историю XX века невозможно писать, опираясь на документ: документ либо лжёт, либо его нет вовсе». А как же тогда писать её? «Антиэпопея» – это, скорее, у Шаламова. У него есть и прямые указания, например: «Вишера. Антироман». Хотя в чём-то французский критик прав: эпопея – это высокая память, героизация прошлого, а тут – о национальной катастрофе.

Книга Л. Сараскиной высоко оценена, и с этим спорить не приходится: добросовестный сбор материала, но всё изложение внешне-биографическое. Учтём также, что первый вариант книги Жоржа Нива переведён на русский десятью годами раньше.

Философию Солженицына в штыки принял Вл. Лакшин. «Гений осмотрительности», как иронически аттестует его Солженицын, вдруг взорвался: «Воспитавшись в правой ненависти к сталинизму, Солженицын незаметно в свой мозг и душу впитал его яды – и не оттого ли в его книге так много нетерпимости, злобы, изворотливости, неблагодарности?». Изумляет его книга «Солженицын и колесо истории»: первая половина – хвала, вторая – хула. «Как в политика и мыслителя в Солженицына я верю мало... В христианство его я не верю...». Напоминает эпизод из самой известной солженицынской повести. Алёша-баптист шепчет: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь!» – Пайку, значит? – спросил Шухов». Мы, читатели, не верим в любовь «плюралиста» Лакшина к России, не видим её за абстрактно-либеральными оговорками. Видим основное расхождение – вероисповедное.

Есть уже и первая монография о большом романе – книга А. Немзера «Красное колесо» Александра Солженицына: Опыт прочтения». Сказать по правде, столь обширного пересказа одного произведения я что-то не припомню. Ну да, десять томов, есть что пересказывать. Правда, критик обещал во введении «не спешно и пристально читать «Красное Колесо». Он пытается изложить историософию романа-эпопеи, но для понимания сути «отмеренных сроков» нужна

религиозная точка зрения. Для Солженицына это мысли о нарушении Божьих заповедей, о триумфе тёмных сил.

Солженицын смотрит с кургана революции, и это взгляд религиозный. Когда говорят: мир – это текст, то забывают задать вопрос: чей же текст? Если божий – он требует полного доверия. Взгляд постмодернистов на революцию – «сторонний», откуда-то с Марса. Традиционалисты же задали трагические вопросы: «Что с нами происходит?» (Шукшин), «Мы почему, Иван, такие-то?» (Распутин). А самый страшный вопрос – у В. Астафьева: «Куда мы делись?». Наверно, этому и посвящено «повествование в отмеренных сроках». Исток революции – ожидание чуда, быстрого и на халяву.

Философ Варсонофьев, герой романа «Август четырнадцатого», предостерегает: «Чудо? <...> Для Небес чудо всегда возможно. Но, сколько доносит предание, не посылается чудо тем, кто не трудится навстречу». О чуде молит Небо царь, о революции как чуде мечтала чуть ли не вся русская интеллигенция. А вылилось ожиданье в погромные лозунги: «Долой!» и «Даёшь!». Что «долой»? Старую Россию. А к кому «даёшь», если не признают Бога? Ясно, к антиподу.

Особо хочется выделить воспоминания о Варламе Шаламове: «Изо всего нашего знакомства, ни из одной встречи, никаким предчувствием я не мог предположить такое: что Шаламов меня возненавидел. Теперь стал мне понятен и его отказ от соавторства по «Архипелагу»: «Почему я не считаю возможным личное моё сотрудничество с Солженицыным? Прежде всего потому, что я надеюсь сказать своё личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого в общем-то дельца, как Солженицын. Свои собственные работы в прозе я считаю неизмеримо более важными для страны, чем все стихи и романы Солженицына». Их взгляды на русскую историю разошлись до полной враждебности, и Шаламов включился в хор шельмователей автора «Архипелага».

Благословение тюрьме – взгляд христианский – вызвал у В. Шаламова раздражение: «Лагерный опыт — целиком отрицательный до единой минуты». Другое отношение и к народу: не принял автор «Колымских рассказов» солженицынских праведников. Об образе дворника Спиридона («В круге первом»): «Дворник из крестьян обязательно сексот, и иным быть не может. Как символический образ народа-страдальца фигура это неподходящая». По Солженицыну, «одно слово правды весь мир перетянет». По Шаламову, правда о человеке убийственна, и абсурд мира непобедим. И – уж совсем непредсказуемо – с «отпорным» писанием выступил Владимир Максимов: «Но, уверенный в своём историческом предназначении, Александр Исаевич, как все уважающие себя мегаломаны, считался с людьми лишь по мере их полезности в достижении собственных целей». Это Максимов, редактор «Континента», заявил в интервью: «Россия обречена». Вспомним древнюю мудрость: бойся вчерашних друзей. Глубоко в наших интеллектуалах наследие смуты: не признаём авторитеты, никаких вождей.

Есть и «занозистая» тема – книга «Двести лет вместе». Этот двухтомник – тоже ведь глыба! Не многие решились на такое. Судьба евреев в России для писателя – побочный материал, отходы работы над «Красным колесом», хроникой катастрофы. Внутренний враг есть в любой стране, но одолевает он при одном

условии: когда разлагается титульная нация. И опять: есть обвинения в продажности («пейсатель Солженицер»), другие – видят антисемита. «Цель этой моей книги, отражённая и в её заголовке, как раз и есть: нам надо понять друг друга, нам надо войти в положение и самочувствие друг друга. Этой книгой я хочу протянуть рукопожатие взаимопонимания – на всё наше будущее». Утопист? Ждал диалога – нет воли к диалогу.

Мнение Ж. Нива (стороннее!): Солженицын «ищет воплощения своему тезису об инородности революции». Сам писатель как будто подтверждает: «Февральская революция была совершена русскими руками, русским неразумием. В то же время в её идеологии сыграла значительную, доминирующую роль та абсолютная непримиримость к русской исторической власти, на которую у русских достаточного повода не было, а у евреев был. И русская интеллигенция усвоила этот взгляд...». В «Раковом корпусе»: «...раны тебе – за это! Тюрьма тебе – за это! Болезни тебе – за это!». Упёртые антисемиты выставляют свой народ беззащитно-жалким, и автор говорит об этом: «Нам, в общем, правильно бросают: да как бы мог 170-миллионный народ быть затолкан в большевизм малым еврейским меньшинством?». Но всё же... самые отталкивающие лица огромного романа – убийца Столыпина Богров и Парвус, демонски искушающий Ленина. Заметим: Солженицын не мифологизирует «гения с обратным знаком», Ленина, в плаще Мефистофеля у него Парвус-Гельфанд.

Сейчас любой роман на темы истории – развлекаловка. Дух исследования – это не для массовой литературы, обывательские души национальную трагедию не вмещают. О чём «Красное колесо»? Как либеральное чужеумие переходит в дьявольскую одержимость. Воротынцев, alter ego автора, думает о родине (Руси-тройке): «А вот уже: прославленная Тройка наша – скатилась, пьяная, в яр – и уткнулась оглоблями в глину». Мудрый дедушка Крылов сказал об этом много раньше: «Левей, левей, и с возом – бух в канаву. Прощай, хозяйские горшки!». А хозяина-то в доме уже нет, да и дом наполовину спалили. Приучили нас к благостной картине революции, а этот – отнял игрушку. Духовное обновление народа мыслит как возвращение к традиции. Сначала – вернуться к себе, потом уж двигаться вперёд, иначе понесём в «светлое будущее» тёмную одержимость. Обновление как возвращение – логический тупик? Тут, господа-сотоварищи, высокая одержимость, вера, втолкнувшая его в борьбу, всем казалось – безнадежную.

«Одна глубокая тяга сосала Воротынцева от самой молодости: иметь благое воздействие на историю своего отечества». Что, центральный герой эпопеи из числа одержимых? Нет, человек острого ума и вполне уравновешенный, он попал в жернова истории. Автор передоверил ему свою собственную сверхзадачу, и, по замыслу, жизнь полковника заканчивается трагически. В набросках финала Воротынцев говорит чекисту перед казнью: «Да, мы проиграли. Но не выиграла и вы!». Не выиграла ни те, ни другие, а Россия – проиграла.

«Наука о спасении» – каков предмет её и метод? Есть только введение, тяжкая констатация: «Мы потеряли ощущение нации». А с чего всё началось – об этом в Темплтоновской лекции (1983): «Если бы от меня потребовали назвать кратко главную черту в с е г о XX века, то и тут я не найду ничего точнее и со-

держательнее, чем: «Люди – забыли – Бога». И ещё: «А истина, а правда во всём мировом течении одна – Божья». И если народ отвернулся от высшей правды, – он рассыпается, исчезает. Или потомки возвращаются к тысячелетней вере. Что, конечно, есть сверхзадача.

Сейчас одна задача актуальна – сбережение национальной культуры. Мир богат был многоцветными ликами культур, лицами народов. Как заметил Лев Гумилёв, размышлявший в том же направлении и тоже прошедший ГУЛаг, «охранять культуру, не охраняя этнос, бессмысленно». Не живёт культура без носителя, без народа, и цивилизация вырождается в «тектуру». Учёный-этнолог считал возвращение в былое утопической задачей (история не знает таких примеров) и подсказал вопрос: о месте Солженицына «на шкале этногенеза». В нисходящей фазе, мемориальной, после катастрофы, когда где-то ещё теплится надежда на духовное оздоровление...

Получается: одержимый реконструкцией народа, писатель принёс дар художника в жертву проповеди? А на решение задачи не хватит одной жизни, даже долгой. Как говорили староверы, высоко ценимые Солженицыным, *тут дело Божье*. Но коренной вопрос стал яснее: какой опыт нажили мы в потрясениях XX века? Приобрели иммунитет против духовной заразы? Тогда где же наша национальная идеология? Он искал в истории духовное измерение: «Я понял ложь всех революций в истории: они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах – и носителей добра), – само же зло, ещё увеличенным, берут себе в наследство».

В последнее время заговорили о «духовном реализме». А. Солженицын, бесспорно, крупнейшая здесь фигура, значительнее И. Шмелёва, Б. Зайцева и Л. Бородина. Он верил в восстановление божественного лада, считал, что дьявольский эксперимент над Россией – всего лишь зигзаг истории. А пока, считал, безбожный коммунизм не отторгли мы, а только перелицевали. И сейчас духовный символ наш – красно-белая химера. Слово писателя в пору смуты и выбора должно быть не игрой, а общим делом – спасительным.

Лев ПИЧУРИН

НАДЕЖДА ЕСТЬ

С февраля 1946 года хранится у меня напечатанная на плохонькой серой бумаге тонкая брошюрка – предвыборная речь И. Сталина, посвящённая Второй мировой войне и нашим тогдашним ближайшим планам. «Мы окончили войну полной победой над врагами, – в этом главный итог войны». Сказано точно и убедительно.

Далее Сталин утверждает, что победил наш общественный строй, победил наш государственный строй, победила наша Красная Армия. «Так понимаем мы конкретно победу нашей страны над её врагами». А такой победы нельзя добиться без предварительной подготовки всей страны. И одной беспримерной храбрости не хватило бы без прекрасного вооружения, отлично обученных офицеров и неплохо поставленного снабжения, обеспеченных нами всего за 13 лет индустриализацией страны и коллективизацией сельского хозяйства.

* * *

Хотя всё это бесспорно, некоторые наши и зарубежные авторы продолжают говорить, что разгром фашизма достигнут Советским Союзом и нашими тогдашними союзниками не благодаря тому, о чём сказал Верховный, а вопреки невероятным трудностям, грубым ошибкам и тяжким преступлениям, совершённым советской властью и сталинским Политбюро ЦК ВКП(б). Вот не будь этого, так, может быть, и самой войны не было бы, и не заваливали бы мы трупами наших солдат немецкие окопы. По этому поводу спорить не стану, ибо не вижу предмета спора. Может быть, полезнее порассуждать о Маутхаузене (после войны мне довелось видеть этот лагерь в Австрии), да вспомнить недавно ушедшего из жизни Леонтия Брандта, разведчика 336-й Житомирской Краснознамённой ордена Суворова II-й степени стрелковой дивизии, одного из семи солдат, первыми вошедших в Освенцим 27 января 1945 года. Фашисты тогда уже бежали, но трубы четырёх крематориев, где уничтожено почти два миллиона заключённых, ещё дымились. Леонтий Вениаминович, томский еврей, спортсмен, сын расстрелянного в 1937 году бухгалтера больницы водного транспорта, был последним из оставшейся после войны семёрки... Вот о чём и ком надо думать, вот кого следует помнить...

* * *

Но есть проблемы, о которых Сталин 9 февраля 1946 года или не говорил вообще, или коснулся лишь слегка. Это, разумеется, не упрёк выступавшему, всему есть свои причины.

Чем дальше от нас 22 июня 1941 года, тем величественнее представляется 9 мая 1945-го, и тем больше гордишься и удивляешься тому, что мы победили. Но многое кажется неправдоподобным. Кого мы победили? Верховный назы-

вает: «немецкие и японские агрессоры», «враги», «главные фашистские государства – Германия, Япония, Италия», «немецкие войска», «германская армия». О том, что мы фактически воевали со всей Европой, о зверствах венгров под Воронежем, хорватов – в Крыму и на Дону, румын – на Украине, о чешском, французском и шведском оружии в руках фашистов, об испанской и нескольких польских дивизиях, о добровольцах из Дании, Бельгии, Норвегии Сталин не сказал ни слова, и это понятно – дипломатия, проблемы послевоенного мироустройства. Правильно. Он и о власовцах, бандеровцах, прибалтийских эссовцах, казаках генерала П. Краснова и группенфюрера Г. Паннвица ничего не говорил. Он даже о финнах и маршале К. Маннергейме не сказал ни слова. Но сегодня нам всё это надо знать и понимать.

С нами воевала вся Европа, нам угрожала Япония, помощь союзников, несомненно, значительная, была всё же недостаточной и до 1944 года практически бескровной. Ну не могли мы победить!

Но победили! И причины этого не только в страшных жертвах, беспримерной храбрости воинов, мастерстве командного состава, прекрасном оружии и потрясающей работе тыла, но и в морально-политическом единстве народа, обеспеченном колоссальной пропагандистской, воспитательной, идеологической, педагогической работой. Знаю, оппоненты могут привести сто аргументов против сказанного, и во многом будут правы. У меня только один – Победа.

Сейчас, пожалуй, ни один либерал уже не говорит, что не надо было сопротивляться – жили бы спокойно, попивая баварское пиво. Кажется, все поняли, что не пили бы, и не потому, что пива не хватает, а потому, что пить было бы некому – война шла не на завоевание, а на уничтожение нашего народа. Наше поколение понимало это ещё до войны, мы хорошо знали, что такое фашизм. Откуда? Прежде всего из радиопередач, книг, газет и, конечно, кино.

Сегодня уже почти не осталось тех, кто это слышал, читал, видел. И я обязан кое-что вспомнить, не опуская трагической составляющей.

* * *

Есть совершенно особая проблема, без понимания которой рассуждения о беспримерной храбрости, хорошем вооружении, отлично обученных офицерах и неплохо поставленном снабжении теряют смысл. Речь идёт о морально-политическом единстве нашего народа, обеспеченном идейно-пропагандистской работой Коммунистической партии и всей советской власти. Сталину говорить об этом не было необходимости – в те годы мы это и так знали. Сегодня мы о состоянии тогдашнего общества забыли или скрываем его умышленно, скрываем, ибо в противном случае придётся признать величие достигнутого, а это кое-кому настолько неприятно, что приходится закрывать фанерой Мавзолей Ленина и глубокомысленно рассуждать о единстве российского общества, расколотого по многим параметрам.

* * *

А ведь существовала стройная, продуманная (конечно, тоже с перегибами, глупостями и ошибками) система работы литературы, музыки, кино, всего на-

шого искусства, всей нашей пропаганды. И многое в этой системе было понятно в предвоенные годы даже нам, деревенским мальчишкам.

Нет необходимости напоминать об идущем из народа воспитании любви и уважения к армии и флоту, чувств, свойственных нашим людям издавна, а не только с возникновением власти советов. Важнейшей составной частью этой системы в XX веке стало, конечно, кино. В этом деле огромную роль играли многочисленные фильмы о нашей истории («Броненосец Потёмкин», «Александр Невский», «Пётр I», «Минин и Пожарский»), о революции и Гражданской войне, герои которой ещё были рядом с нами (фильмы о Ленине, трилогия о Максиме, «Депутат Балтики», «Арсенал», «Волочаевские дни», «Щорс», «Балтийцы», «Мы из Кронштадта»). Были фильмы и откровенно слабые, были и настоящие шедевры, достаточно вспомнить «Чапаева». Появились фильмы об обороне страны и военном строительстве на Западе и Дальнем Востоке. Все они воспитывали и поддерживали военно-патриотические чувства, к ним примыкали фильмы о советских чекистах, милиционерах, людях, с которых нам, октябрятам и пионерам, надо брать пример.

* * *

Что война неизбежна и к ней надо готовиться, было ясно всем. Появились и фильмы о том, какой она будет. Среди них самый знаменитый (Сталинская премия 1941 года!) и ныне чаще всего подвергающийся жесточайшей критике, вышедший на экраны 27 февраля 1938 года фильм «Если завтра война» (режиссёр Ефим Дзиган, удостоенный незадолго до этого ордена Ленина за «Мы из Кронштадта»). Картина наивная, прямолинейная, с отчётливо указанным противником, говорящим по-немецки и имеющим на касках символ, очень похожий на свастику. Ныне много говорят, что фильм причинил вред, ибо ориентировал народ на лёгкую победу. Видимо, критики считают, что уже тогда надо было показать народу, как силен противник, сколь многого нам не удалось сделать для подготовки к отражению его удара, и вообще, стоит ли нам воевать? А то вот ведь что получилось летом и осенью 1941 года! Кстати, много ли в истории примеров, когда тщательно подготовившийся к наступлению и накопивший боевой опыт агрессор был бы остановлен и разгромлен мирным народом у своей границы в первые же дни?

Кстати, сомневаюсь, что сегодня кто-нибудь сумеет пересказать сюжет фильма. А вот мелодию песни «Если завтра война» и хотя бы несколько слов из неё знают даже те, кто плохо помнит даты трагического начала и великого окончания Отечественной войны.

* * *

23 августа 1939 года был подписан так называемый «пакт Молотова – Риббентропа». Через два месяца после состоявшейся 7 июня 1939 года премьеры сняли с экранов фильм о будущей войне, войне именно с Германией. Это была «Эскадрилья № 5», поставленная А. Роммом по сценарию И. Прута. Консультировал фильм сибиряк, лётчик-истребитель, полковник Иван Иванович Евсеев (1910–1991), с мая по октябрь 1937 года участвовавший в гражданской войне

в Испании и удостоенный после возвращения звания Героя Советского Союза.

В годы войны генерал И. Евсевьев командовал авиадивизией и корпусом ПВО. В ноябре 1943 года был одним из организаторов перелёта советской делегации во главе с И. Сталиным в Тегеран для участия в конференции. Об этом полезно вспомнить, перечитывая доклад Н. Хрущёва XX съезду КПСС, в котором объявлено, что «почти все» советские офицеры, получившие боевой опыт в Испании и Китае были репрессированы.

* * *

Да, многие фильмы того времени сегодня вызывают неоднозначное к себе отношение. Это сегодня. А тогда они служили великому делу создания и укрепления духа народа, его монолитности, воспитанию его в твёрдой вере в правоту слов В. М. Молотова, сказавшего 22 июня 1941 года: «Наше дело правое. Победа будет за нами!». И все 1418 дней войны мы, советские люди, не сомневались, что мы её добьёмся. И медаль с надписью: «Наше дело правое. Мы победили» – предмет моей гордости, хотя я понимаю скромность моей трактористской колхозной доли в доблестном труде нашего народа. Не надо спорить, господа, всё было, включая и насилие, и репрессии, и, прямо скажем, нечеловеческий труд, и массу несправедливостей и неоправданных обид, горя и трагедий, но выше всего были высочайший моральный дух советского народа, его единство и вера в победу. Советский народ был подготовлен к страшной войне, вот источник Победы.

* * *

Было ещё одно направление нашей идеологической работы, пропаганды, и, разумеется, кинематографа – антифашизм. О нём ныне говорят и пишут не очень много, чему есть разные причины. Попытаюсь хотя бы частично коснуться их – тут есть о чём поразмышлять, тут многое замалчивается, а знать надо всё, том числе и трагическое. 27 февраля 1933 года в Берлине загорелся рейхстаг. По обвинению в причастности к поджогу нацисты арестовали одного из руководителей III Интернационала болгарского коммуниста Георгия Димитрова.

Но на суде в Лейпциге в декабре 1933 года было доказано его алиби, суд вынес оправдательный вердикт. Мало того. В ходе судебного процесса Димитров выстроил защиту так, что из обвиняемого превратился в обвинителя нацистов и нацизма. Речь Димитрова на Лейпцигском процессе в дальнейшем послужила образцом для выступлений коммунистов перед судом во многих странах.

Уже 4 декабря 1936 года на экраны СССР вышел посвящённый этим событиям фильм «Борцы», поставленный германским режиссёром, актёром, драматургом Густавом фон Вангенхаймом (1895–1975), членом Коммунистической партии Германии с 1922 года. В 1933 году он эмигрировал в СССР и руководил в Москве театром «Kolonne Links». В фильме Георгий Димитров ещё раз специально для кино произносит свою знаменитую речь на Лейпцигском процессе. Но многие из создателей фильма, в основном германские эмигранты, были репрессированы как «немецкие шпионы». Фильм сняли с показа, конечно, не из-за «тёплых чувств» к Риббентропу.

Трагедии товарищей по фильму удалось избежать исполнителю одной из ролей, любимому в СССР, в Германии, да и во всём мире певцу Эрнсту Бушу.

Он, «Красный Орфей», уехал из Москвы, воевал на стороне республиканцев в Испании, был там ранен, попал в застенки гестапо. 30 мая 1946 года в освобождённом Берлине Буш, больной, искалеченный при бомбёжке тюрьмы (американцы бомбили её ещё в 1944 году), вышел на сцену со своими знаменитыми песнями. В 1972 году он стал лауреатом Ленинской премии. Мы, мальчишки, не говоря уж о взрослых, ещё до войны знали и даже напевали его «Песню единого фронта». Я и сегодня могу спеть её припев:

Drum links, zwei, drei!	Марш левой, два, три!
Drum links, zwei, drei!	Марш левой, два, три!
Wo dein Platz, Genosse, ist!	Встань в ряды, товарищ, к нам!
Reih dich ein in	Ты войдёшь
die Arbeitereinheitsfront	в наш Единый рабочий фронт,
Weil du auch ein Arbeiter bist.	Потому что рабочий ты сам!

Константин Симонов, присутствовавший на концерте, написал стихотворение «Немец», стихотворение про «немца, которого я любил». Там есть горькие строки: «Давно когда-то, в тридцать третьем // Он не сумел спасти свой город».

Да, именно тогда Буш и другие немцы не смогли спасти ни своих городов, ни самой своей родины, позволив фашистам прийти к власти, расколов рабочее движение в Германии. Да и в нашей стране, готовясь к битве с фашистами, мы немало били по своим. Это вина германских товарищей, это наши беда и горе, но это наше прошлое, и его надо знать. Зачем? Посмотрите вокруг себя: в мире снова возрождается фашизм...

* * *

Как бы ни оценивать трагическую судьбу фильма «Борцы» и его создателей, начало было положено – в СССР один за другим начали выходить антифашистские фильмы. Сюжет, как правило, принадлежал германским авторам, далеко не всегда коммунистам, но всегда – убеждённым антифашистам. Роли исполняли лучшие советские артисты. Конечно, мне запомнилось не всё, да и демонстрировался в нашем сельском клубе далеко не весь тогдашний репертуар, но вот примеры.

В 1936 году по сценарию венгерского эмигранта Бела Балаша (1884– 1949), человека потрясающей судьбы, солдата Первой мировой, поэта, писателя, драматурга, сценариста, теоретика кино, доктора философии, коммуниста, советский режиссёр Алексей Маслюков поставил адресованный детям фильм «Карл Бруннер», рассказывающий об участии детей в подпольной борьбе против немецких фашистов. Фильм с успехом прошёл в нашем прокате, но после 1937 года я его не видел.

В 1938 году Григорий Рошаль выпустил фильм «Семья Оппенгейм» по роману крупнейшего немецкого писателя Лиона Фейхтваннгера «Семья Опперман». В фильме занят великолепный артистический ансамбль от знаменитого Соломона Михоэлса до начинающих Михаила Глузского и Владимира Зельдина.

25 ноября 1938 года состоялась премьера фильма Александра Мачерета, экранизовавшего повесть Юрия Олеши «Болотные солдаты». В главной роли фильма о борьбе немецких коммунистов против нацизма великолепно выступил любимый всеми Олег Жаков.

Знаю, но, к сожалению, тогда не видел, что в 1939 году вышел фильм «Борьба продолжается», поставленный по сценарию германского коммуниста Фридриха Вольфа режиссёром Александром Разумным (он известен как создатель фильма «Тимур и его команда», воспитательное значение которого было огромно. У нас возникло тимуровское движение, влияние которого не исчезло и сегодня). Фильм, выпущенный за несколько недель до заключения пакта, вообще видели немногие.

Зато фильм «Профессор Мамлок», основой которого тоже послужило творчество Ф. Вольфа (так названа его пьеса), видел неоднократно. Фильм поставили А. Минкин и Г. Раппопорт. Творческая судьба последнего очень своеобразна.

Он родился в 1908 году в Вене. Работал на Берлинской киностудии, эмигрировал в СССР – еврею в нацистской Германии места уже не было. После «Мамлока» в 1939 году поставил детектив «Шпион», а в 1940 году неожиданно для всех создал простую, но многим полюбившуюся (и есть за что!) «Музыкальную историю» с Сергеем Лемешевым – мирная жизнь в СССР продолжалась! А много лет спустя поставил «Два билета на дневной сеанс» с А. Збруевым в главной роли сыщика. Вот такие творческие повороты!

«Профессор Мамлок» – сильнейший советский антифашистский фильм. Сильнейший по чёткости расстановки политических акцентов, сильнейший по подбору исполнителей (Б. Межинский, О. Жаков, Ю. Толубеев, В. Меркурьев), а отсюда – влиянию на зрителей. Не стану пересказывать сюжета, сегодня фильм вполне доступен. Станете смотреть – обратите внимание на некоторые детали.

27 февраля 1933 года... Зловещий смысл титров – сегодняшний зритель не сразу вспомнит дату поджога рейхстага, начало страшной вакханалии... Портрет Тельмана в комнате Рольфа... И тут же: «Мне не нужны коммунисты в моём доме». И Гитлер по радио: «Германский народ уничтожит своих врагов, коммунистов и евреев!». Слова Мамлока: «Когда под Верденом я был ранен, я не заметил, чтобы моя кровь чем-либо отличалась от крови других солдат».

Он не хочет «политической хирургии», и вот он уже в халате с надписью «Yude», и вот он пытается застрелиться из именного пистолета с надписью «За храбрость».

Но итог! Из уст ещё вчера далёкого от политики профессора звучит настоящий гимн родине, той Германии, что дала миру великих учёных, музыкантов, философов: «Фашистские варвары будут уничтожены!». Это говорит германский профессор, но точку в его речи из пулемёта ставит германский штурмовик. Мы это видели, мы это слышали, мы знали, что такое фашизм.

И, вновь обращаясь к антифашистскому предвоенному кино, я говорю: мы неплохо подготовились к войне, без этого мы бы её не выиграли.

...77 лет прошло с того 22 июня, которое разделило стану на «до» и «после». Споры о войне, обо всём, что с нею связано, будут продолжаться ещё долго. Но «Наше дело правое, мы победили!» И тут не поспоришь.

* * *

И в заключение – лёгкая улыбка. 12 марта в нашем ТЮЗе профессор С. С. Сытник, артист Александринки, представил моноспектакль об Ирине Мейерхольд и Василии Меркурьеве. Это было очень интересно и познавательно, тем более, что многое в спектакле связано с Нарымом, Колпашевом, Томском, Новосибирском.

Вот отрывок из рассказа Семёна Семёновича.

У В. М. Мейерхольда были несколько напряжённые отношения с зятем, но когда Василий Васильевич приехал в Москву, Всеволод Эмильевич встретил его, обнял, расцеловал, и когда они проходили мимо огромного плаката фильма «Профессор Мамлок», в котором Меркурьев снялся в роли штурмовика Краузе, Мейерхольд воскликнул: «Я видел эту картину! Ты там здорово жрёшь бутерброды!». Всё стало ясно. Мейерхольд признал Меркурьева как актёра, и теперь он стал ему интересен. Мейерхольд привёз зятя домой, по дороге закупил в гастрономе всяких деликатесов, включая, конечно, колбасу. Остаётся добавить, что сцена поедания Краузе-Меркурьевым многослойных бутербродов действительно сделана блестяще, но получилось это после нескольких дублей. После них Василий Васильевич долгое время колбасу терпеть не мог. От себя добавлю, что это была настоящая «микояновская» колбаса, с которой то, что мы покупаем сегодня в некоторых томских магазинах, ничего общего, кроме названий, не имеет. Но всё же посмотрите, как будущий народный артист СССР, лауреат многочисленных премий и кавалер многих орденов, любимый народом старший лейтенант Туча, он же – академик Нистратов, «здорово жрёт бутерброды»!

Посмотрите, улыбнитесь. И задумайтесь о нашей жизни и нашей истории. А я ещё часто вспоминаю диалог продавца продуктового магазина и покупатель из этого фильма:

– Надежда на молоко есть?

– Надежда есть, а молока нет и не будет!

...Непростой подтекст вложили авторы в эти две фразы! Посмотрите фильм, оглянитесь, поймёте, задумаетесь... Надежды нет и не будет, или она всё-таки есть?

Мария ПЛОТНИКОВА

Энтомолог Василий Плотников, уроженец Томска

Василий Ильич Плотников родился 30 декабря 1877 года по старому стилю, или 12 января 1878 года по новому стилю в Томске в семье моего прадеда Ильи Николаевича (позднее – служащего железнодорожной «тяги») и его жены, купеческой дочери Анфусы Михайловны. Родители воспитывали семь сыновей и трёх дочерей. Большая семья жила в собственном доме по адресу: Загорная улица, 4¹.

Семейной традицией было – дать детям образование, хотя бы и «на медные деньги». Известно, что старший брат Василия, Игнатий Ильич, стал педагогом, заведовал Томским городским Александровским мужским приходским училищем². Младший брат, Иннокентий Ильич, (мой дед) по желанию матери окончил Томскую духовную семинарию и стал священником. Подобно брату Григорию, лесничему Тисульской волости Мариинского уезда Томской губернии³, Василий также заинтересовался лесоводством. После окончания в 1896 году Томского реального училища он решил продолжить учёбу в Санкт-Петербурге, где успешно поступил в Лесной институт, который окончил в 1901 году.

В конце XIX века начала действовать пресноводная биологическая станция Бологое, предназначенная для всестороннего стационарного изучения растений и животных в естественных условиях и проведения экспериментальных исследований. Одна из первых в России, она располагалась между Петербургом и Москвой. Будучи студентом В. И. Плотников начал работать там, на берегу Бологовского озера, под руководством профессора Н. А. Холодковского. (1858–1921). Сибиряк по рождению, выдающийся зоолог, читавший курс энтомологии в Петербургском Лесном институте, блестящий переводчик на русский язык лучших немецких изданий по энтомологии и популяризатор этой науки в России Николай Александрович увлёк молодого учёного. Область его научных интересов определилась.

Первая работа В. И. Плотникова в сфере защиты леса от вредителей – «О линиях насекомых» была отмечена золотой медалью Совета Лесного института. Личное дело студента Лесного института В. И. Плотникова хранится в Центральном Историческом архиве Санкт-Петербурга,⁴ а служащего Лесного департамента Министерства земледелия – в Российском Государственном Историческом архиве⁵.

После окончания института В. И. Плотников работал в 1900–1908 годах консерватором кафедры зоологии и сравнительной анатомии Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Он был избран 28 декабря 1903 года действительным членом Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей

по секции зоологии и физиологии⁶. В это время научные статьи В. И. Плотникова публикуются в «Трудах» этого общества⁷.

В 1908–1911 годах он был ассистентом лаборатории Лесного департамента под руководством известного энтомолога И. Я. Шевырева (1859–1920). Деятельность И. Я. Шевырева в Бюро по энтомологии департамента земледелия России способствовала возникновению эколого-хозяйственного направления в русской лесной энтомологии, ставшего затем научной основой защиты леса.

В 1911 году Иван Яковлевич Шевырев сделал своему талантливому ассистенту интереснейшее предложение, определившее дальнейшую судьбу учёного: организовать и возглавить в Ташкенте Туркестанскую энтомологическую станцию защиты растений при Управлении земледелия и государственных имуществ. С тех пор жизнь и научная деятельность В. И. Плотникова была надолго связана со Средней Азией, а станция стала предшественницей современного Среднеазиатского Института защиты растений.

Более 20 лет Плотников изучал фауну насекомых Средней Азии. Множество научных работ – исследование насекомых – вредителей хлопчатника, врагов садоводства, полеводства и огородничества, изменчивости фаз их развития и миграций, – имело практическое значение для повышения урожайности. Ежегодные отчёты наблюдений станции направлялись в Академию наук. В популярных брошюрах содержались наставления, как бороться со всей этой саранчой, горными клопами, «мароккскими кобылками» и пр.

После революции станция успешно продолжила свою деятельность под экзотическим наименованием «УЗОСТАЗРА» (Узбекистанская опытная станция защиты растений). Во время голода в Поволжье В. И. Плотников опубликовал в Самаре «Наставление по борьбе с саранчевыми насекомыми в Самарской губернии на 1922 год» для спасения урожая⁸.

В советское время началась педагогическая деятельность В. И. Плотникова, имевшая огромное значение для подготовки национальных научных кадров.

С 1918 по 1931 гг. он преподавал энтомологию на сельскохозяйственном факультете Среднеазиатского университета.

В 1930 году В. И. Плотникову было присвоено звание: Герой Труда Узбекской ССР.

В 1932–1933 годах он преподавал зоологию в Северо-Кавказском Институте коневодства в Пятигорске.

В 1933–1936 годах читал курс энтомологии в Башкирском Сельскохозяйственном институте в Уфе.

В 1935 году защитил диссертацию и стал доктором биологических наук.

С 1936 по 1941 гг. профессор В. И. Плотников вёл курсы гистологии и эмбриологии в Среднеазиатском университете. После войны В. И. Плотников жил и работал на Украине, во Львове. С 1945 года до выхода на пенсию в 1957 году он был заведующим кафедрой защиты растений Львовского сельскохозяйственного института.

Василий Ильич Плотников умер 11 ноября 1959 года во Львове. Более 60 научных работ составляют наследие учёного. Его имя внесено в Международный список диптерологов (исследователей двукрылых насекомых), внёсших значительный вклад в развитие этой науки, описавших, по крайней мере, один новый вид по системе Линнея⁹.

Личный фонд В. И. Плотникова находится в СПФ АРАН (Архивы Российской академии наук), фонд 1016. Он содержит 73 единицы хранения (труды, документы и переписка).

Научная деятельность В. И. Плотникова началась во время великих имперских планов С. Ю. Витте, затем П. А. Столыпина по хозяйственному освоению Сибири и Туркестанского края, транспортному соединению этих регионов на основе специализации и товарообмена: хлеб – хлопок. Не всё из грандиозных проектов осуществилось. Большим личным вкладом в государственное дело были труды учёного Василия Ильича Плотникова, уроженца Томска.

¹ Список улиц г. Томска с поименованием домовладельцев и указанием деления на полицейские, мировые и следственные участки. Составлен по распоряжению Томского полицмейстера. 1908 год. Томск. Паровая типография Н. И. Орловой. 1908.

² Список улиц г. Томска с поименованием домовладельцев и указанием деления на полицейские, мировые и следственные участки. Составлен по распоряжению Томского полицмейстера. 1908 год. Томск. Паровая типография Н. И. Орловой. 1908.

³ Памятная книжка Томской губернии на 1912 год.

⁴ Памятная книжка Томской губернии на 1911 год.

⁵ ЦГИА СПб. Ф. 994. Оп. 4. Д.1807 (1897–1901).

⁶ РГИА СПб Ф. 387 Оп. 24 Д. 8205.

⁷ СПФ АРАН, (Архивы Российской академии наук) фонд 1016, оп. 1, д. 37.

⁸ В. И. Плотников К фауне червей пресных вод окрестностей Бологовской биологической станции – «Труды пресноводной биологической станции Имп. Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей» Т. 2, 1906.

⁹ Самара: Гос. изд. Самар. отд., 1922.

Валентина ЗАРУБИНА

«Солнце останавливали словом...»

Ассоциативно-краеведческий подход при изучении отечественной истории

Сегодня многие согласятся с утверждением, что именно в руках учителя находится будущее страны. В начале XX века российское общество задавало вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?». Наше время, на мой взгляд, ставит другой вопрос: «Почему?». Почему в современном обществе нет мира, почему у человека растёт внутренняя агрессия, почему бессовестность и цинизм перелёстывают через край, почему нет настоящих мужчин и почему они из жизни уходят молодыми, почему «обмельчал» народ, почему родители стали «шнурками», почему такая армия, почему женщина стала «бабцой» а девушки «тёлками»?

Мой знакомый, в недавнем прошлом офицер-подводник, рассказывал, что будучи в Польше он присутствовал на церемонии представления 90-летнему старику женщины и её дочери. Когда к креслу почтенного старца подвели девочку, мужчина встал и поцеловал ей руку. Удивления своего мой знакомый скрыть не мог, на что старый поляк покачал головой и сказал: «Пани в любом возрасте пани». Ну почему у нас «тёлка», а у них «пани»?

Для себя я нашла ответ в работах художника-абстракциониста В. Кандинского и поэта А. Блока. Картины В. Кандинского вызвали у меня ассоциацию, которую при подготовке к урокам я попыталась перенести на историю Отечества. Российское общество начала XX века состояло из шести сословий: духовенство, дворянство, купечество, крестьянство, казачество, мещанство. Заклучив их в овальную форму, на уроках составляла схему, в которой различными линиями обозначала политические и экономические события XX века: русско-японская война, первая русская революция, Первая мировая война, революции 1917 года, Гражданская война, политика «военного коммунизма», нэп, организация колхозов и раскулачивание, репрессии, финская и Великая Отечественная войны и т. д. Полученный результат меня ошеломил. Какое же мы получили наследство от истории XX века – изломы, острые углы, оголённость, провалы, разрыв всех связующих нитей, которые держали нас. Гигантский «молох» разрушения прошёл по истории, культуре, вере, судьбам, людям, языку и слову.

На мой взгляд, своими работами В. Кандинский писал своё предчувствие грядущего России. Чуть позже, читая в журнале «Начало века» интервью с Валентином Распутиным, прочла его ответ на вопрос журналиста В. Кожемяко: «Чем стал в вашем видении 20 век для нашей страны?». В. Распутин ответил: «Этот век явился для России веком трагическим, страшным. Никакой другой народ тех ломок, потерь, напряжений, какие достались народу нашему, не выдержал бы, я уверен. Ни времена татарского ига, ни Смута XVII века ни в какое

сравнение с лихолетьем России в XX веке идти не могут. Страшнее внешних ломок и утрат оказалась внутренняя переориентация человека – в вере, идеалах, нравственном и духовном прямостоянии. В прежние тяжёлые времена это прямостояние не менялось. Не менялось оно и в поверженных во Второй мировой войне Германии и Японии, что значительно облегчило им возвращение в число развитых стран, а ущемлённое национальное чувство – ущемлённое, а не проклятое и не вытравливаемое, – стало в этих странах возбудителем энергии. У нас же оказались убиты не только убитые, у нас убитыми оказались живые...». Другим совпадением с мыслями с В. Распутина стала его оценка послевоенной Германии. Публицистика Д. Гранина, Г. Померанца в журнале «Знамя» (1990-е годы) убедила меня в этом, и во многом стала поворотной.

Разрыв связующих нитей, потеря якоря, свободный полёт на грани беспредела, и только пульсирующие ниточки традиций в культуре и семьях удерживают нас от полного краха. При подготовке к занятиям с учениками я пережила гамму чувств и задала себе вопрос: а что пережили те поколения, которые прошли через это горнило. Стало страшно, но вместе с тем пришло понимание того, кто виноват, и захотелось найти ответ на вопрос: «Что делать?».

Следующим было желание понять, в каком времени живу и что я могу сделать как учитель истории. Неожиданно ответ я нашла в Библии: моё время – это время собирать камни. А в творчестве А. Блока нашлась подсказка: «будить души колокола, чтобы распутица земная от Родины не увела». По моему глубокому убеждению, начинать надо с маленького человека – ребёнка, с возвращения имени своего и родословия, глубокого и вдумчивого понимания своей истории, культуры, языка. Одним словом, учить обретать Родину.

Основываясь на этом послыле, мною была организована работа в школе, а также впоследствии была составлена программа гуманитарных экспедиций «Прощение и память» 2006–2008 гг.

Богатый нетронутый пласт истории края – Васюганья – дал нам возможность синхронной работы с памятью, историей, верой, культурой, родословной, «я» ученика. Вот так «родился» своеобразный каргасокский Ренессанс – проект «Прощение и память», где источником вдохновения стало краеведение. О. М. Рындина, этнограф, профессор Томского государственного университета, считает, что в XXI веке краеведение становится формой мировосприятия, а оно начинается со слова. В программу каждой экспедиции включалась работа со словом: «вера», «совесть», «стыд», «человек», «слово». Удивительные возможности открываются при использовании приёма «составление синквейна», который позволяет постичь его глубину, постичь значение. Учитывая знания и жизненный опыт детей, он использовался в начале беседы, а не для вывода.

В переводе с французского «синквейн» означает стихотворение, состоящее из пяти строчек и написанное по определённым правилам. Составление синквейна требует в кратких выражениях резюмировать материал, информацию, что позволяет рефлексировать по какому-либо поводу. Синквейн – это творчество по определённому алгоритму. На первой строчке записывается одно слово – существительное (слово-замок), это существительное и является темой синквейна. На второй строчке – два прилагательных, рас-

крывающих тему синквейна. На третьей строчке записывают три глагола, означающие действия, относящиеся к теме синквейна. На четвёртой строчке размещается целая фраза, крылатое выражение, цитата в контексте темы. Последняя строчка – это слово-резюме (слово-ключ), дающее новую интерпретацию темы, выражающее личное отношение. В качестве примера приведём синквейн со словом «слово»:

- Слово
- Доброе, злое
- Лечит, убивает, вдохновляет
- Слово – серебро, молчание – золото
- Дар

Вывод: Слово – это дар.

Приём «составление синквейна» помогает обратиться к сути слова, задуматься над его звучанием, силой и действием.

Обратимся к такой особенности русского языка, как «мотивированность». По мнению доктора филологических наук, профессора Томского государственного университета О. И. Блиновой, русский язык самый мотивированный в мире, около 80 % слов в нашем языке мотивированы. А это значит, что этот язык и слова обладают громадной мотивационной силой. Подтверждение этому выводу находим в творчестве русских поэтов.

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И тёмный бред души, и трав неясный запах;
Так, для безбрежного покинув скудный дол,
Летит за облака Юпитера орёл,
Сноп молнии неся мгновенный в верных лапах.

А. Фет «Хочу и не могу»

Молчат гробницы, мумии и кости, –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.

И. Бунин «Слово»

Мой верный друг! Мой враг коварный!
Мой царь! Мой раб! Родной язык!
Мои стихи – как дым алтарный!
Как вызов яростный – мой крик!

В. Брюсов «Родной язык»

В оный день, когда над миром новым
 Бог склонял лицо своё, тогда
 Солнце останавливали словом,
 Словом разрушали города.

.....
 Но забыли мы, что осиянно
 Только слово средь земных тревог,
 И в Евангелии от Иоанна
 Сказано, что слово это – Бог.
 Мы ему поставили пределом
 Скудные пределы естества,
 И, как пчёлы в улье опустелом,
 Дурно пахнут мёртвые слова.

Н. Гумилёв «Слово»

В процессе составления синквейнов о «Слове», знакомства с творчеством русских поэтов была организована деятельность участников экспедиции, одним из результатов которой стали поэтические работы. Например, стихотворение М. Карбышева «Красное слово», фрагмент которого приведён ниже.

Вот жил Евграф Васильевич – кузнец,
 Не только был в делах он молодец;
 Поправить жатку, лемех наварить,
 А как умел он славно говорить!
 Болванку брал из огненного горна,
 На наковальню молотом проворно,
 По-озорному мял бока металлу,
 А речь его то лебедем летала,
 То плавно, словно реченька, текла,
 То, будто нива вешняя, цвела.
 Немало слов сказал он на веку,
 При этом что ни слово – то в строку.
 Но умер он – его свалила старость...
 А после смерти что кому досталось?
 Да с каждым поделился он, как с другом:
 Для пахаря оставил лемех к плугу,
 Счастливому – подковку над крыльцом,
 А мне оставил красное словцо.

Сила звучания слова потребовала обращения к истокам богатства русского языка. По мнению Д. С. Лихачёва, формированию русского языка способствовали следующие обстоятельства: громадная территория; многонациональность; наличие второго языка – церковнославянского; особое место также принадлежит фольклору, науке, литературе, а также образам и понятиям мировой литературы, мировой науки, мировой культуры – через живопись, музыку, перево-

ды, через языки греческий и латинский. «Язык – одно из самых главных проявлений культуры. Язык не просто средство коммуникации, но прежде всего творец, создатель. Не только культура, но и весь мир берёт своё начало в слове. Слово, язык помогают нам видеть, замечать и понимать то, чего мы без него не увидели и не поняли, открывают человеку окружающий мир. Русский язык необычайно богат. Соответственно богат и тот мир, который создала русская культура». Отсюда понятен мировой интерес к классике русской литературы и постоянное обращение к ней кинематографистов, театральных режиссёров, лингвистов и т. д.

XX век принёс разрушение, вседозволенность, подмену ценностей. Страшно представить, что произошло с русским языком!

После революций 1917 года мат (подзаборный) стал вторым русским языком, заменив церковнославянский. Культура начинается с запретов, и если запреты отменяются, начинается деградация общества. Революция 1917 года отменила многие запреты, этот год стал своеобразной точкой отсчёта вольного обращения с русским языком и культурного отката.

Продолжается уничтожение русского языка, победоносно шествует по стране мат. Истоки мата – древнейшие, они связаны с язычеством, культом матери-Земли, плодородия. Матерщина звучала при севе, при жатве, на свадьбе. Когда молодым желали добра, плодородия, их обязательно надо было обматерить. Возможно, есть объективная потребность существования такой ниши. Но есть и вопрос места и времени.

«Дурно пахнут мёртвые слова», – писал Н. С. Гумилёв. Мёртвые слова – подзаборный мат. Как много в современной жизни нас окружает «мёртвых слов», которые мы продолжаем транслировать!

Наше поколение может помочь языку, начав целенаправленную и осознанную борьбу с матом. Этот инструмент находится в первую очередь в руках учителя и не требует особых материальных затрат, только понимания и ответственности перед следующими за нами поколениями.

В заключение хочу привести фрагмент одного из последних выступлений Ч. Айтматова, которое можно считать своеобразным завещанием писателя: «Сегодня настало время понять, что во имя жизни, будущего далеко не всему на белом свете можно позволить чувствовать себя свободным. Не дать злу чувствовать свободу – это долг прежде всего людей, которым в силу своего призвания, самой своей профессии предначертано смотреть вперёд, строить завтрашний день, во многом оберегать будущее Словом. <...> Существует другая парадигма, первые шаги к которой мы сегодня делаем – все носители живого Слова, Образа должны объединяться, встать на пути распространения зла, точнее сказать, своим талантом, способностями, своей нравственной высотой, культурой и образованием <...> должны объединять общество на отражение чрезвычайно опасных для цивилизации вызовов и угроз, направлять своё вдохновение против носителей зла и причин, порождающих трагедии...».

Это обращение выдающегося писателя XX века можно отнести, на мой взгляд, прежде всего к учителям, основной рабочий инструмент которых – СЛОВО.

Анплей Халявко

Чалдонский завет

Что самое дорогое у нас? – Старые песни. Где они хранятся? – За тайгой и за болотами. Когда поняла это Ирина Самуиловна, решилась: в Нарым ехать надо, там учителя всего нужнее. Студентами в Нарым за песнями ехали, как в прошлое, а там всё настоящее, подлинное. Кулацкий настрой жив, его глушь сохранила.

Ну вот, на выбор: *«Дроля мой, хороший мой, Давай поделимся с тобой – Тебе соху и борону, А мне чужую сторону».*

Девчонки на летней практике ошарашили вопросом: если герой – дроля, то как же она-то – залётка? Преподаватель пояснял солидно: залётка – это он же, а вовсе не она. И поднялся очумелый хохот: он – вдруг залетел!!

Или вот про школу жизни:

*– Дорога подружка Нюшка,
Где плясать училася?
– Как овечка помирала,
Точно так же билася.*

Есть и мудрые инструкции, практические предостережения:

*Не ходите, девки, мимо огорода Кузина:
У Ивана Кузина созрела кукурузина.*

А пропуски, умолчания, они полны особой прелести:

*Сядем, миленький, побаем,
Редьки с квасом похлебаем,
Друг на дружку поглядим,
Будто пряники едим.*

Про главное, про шалаш-то тут ни слова. А намёк прозрачный: где ещё с милым рай бывает?..

Туда, туда. Только там любовь перевозданная, всамделишная. А благословляющая цитата всегда найдётся: *Вот умчит он тебя в белый дым, Факультету заплатит калым...*

Не козявьте фишку

– Тема урока: любовь в народной песне.
– Это про порнуху с эротикой? – Губки брезгливо скрвились, а глазки-то взблеснули.

– Нет, было магическое посвящение в половую зрелость.

– Чё, отпугивало? А когда без посвящения?

– В деревне на этот счёт было строго, ворота дёгтем мазали. Давало духовный иммунитет. Чем это интересно для вашего поколения, – духи ушли, а гормоны остались. Но если искусство настоящее, оно побеждает первичный инстинкт.

– Да чем его укротишь? На любой рекламе вон как дёргаются, шаманы отдыхают. Сразу хребёт продирает.

– Это эволюционный пессимизм! Так не выстроить связь литературы с жизнью. Попробуем переходную форму: от календарной поэзии к любовной.

*Красны девицы поста боятся,
Никого кургузы не стыдятся,
Кличут Масленку, чтоб прикатила,
Сарафаны девкам закрутила.*

– Вот это порнуха! Настоящая?

– Обыкновенная дразнилка, карнавальное слово. Как вы считаете, можно её спеть на эстраде?

– Бабок на эстраде кто слушать будет? Никто и не пойдёт.

– Да почему непременно бабки? Как раз девки пели. Не стало любви к народной песне.

– Нет, песни мы любим. Кто их не любит?

– Так назовите, что любите.

– К чёрту эту любовь. – Эскадрон моих мыслей шальных. – О боже, какой мужчина!

– Поцелуй меня везде, я же взрослая уже. – Ты не слышишь меня, я не слышу тебя.

– Вот видите – песен-то и не знаете.

– Как так? А это что?

– Эрзац-квас. Песня – она как любовь, её нельзя смоделировать. Потому что всё шло от заклинаний. Например, обращение к домовому – бытовое заклинанье.

– Домовой – рассыльный? По квартирам который ходит?

– Нет, нет, дедушка домовый был домашний дух. Ночью покряхтывает, поскрипывает.

– Полтергейст, что ли? Так и сказали бы, а то не понять.

– *Пришёл к Дуне батюшка* – это свёрнутый обряд.

– Зачем поп – до свадьбы?

– Батюшка – это отец. И матушка – не попадья и не игуменья...

– У нас бабушка знала эти кантри фолк мюзикл: *На крутой бережок* и всяко раз-но. Я говорю: он же глина, этот бережок, как он может быть крутым-то?

Да, слишком далёким стал берег, недоступным. А если попробовать по их фене, через сленг? Непедагогично. А, была не была.

– Тогда давайте ближе к современности. Вот что на дискотеках делают?

Радостно подсказывают – совсем другие лица, не сонливые. Вот она, актуальная магия!

– Ещё бы, на дискаче, там, конечно. Правда, нынче торчков полно, а с ними по чесноку бесполезняк.

– Один так воце всем девчонкам козавил фишку, а сам оказался перечник.

– У моего брата кент был такой мармыга – любому табло могу начистить, а самого колбасит. Потом два амбала ему хорошо по репе настучали, мозги точняк стрясли.

– А про жизнь-то что там говорят? Есть хорошие присловья?

– Переход от тёлки к тётке – и вся ваша лайф. – Ай да Еропкин, отличился. Хотя, конечно, постфольклор, не сам изобрёл.

– Вот это в точку: *Мелькнут твои младые годы, живые помертвеют чувства...*

А этого классика узнаете? Неужели никто?

– А чё тут интересного?

Если это – итог урока, тогда искусство меркнет перед жизнью. Но как жить тогда? Ведь учили совсем не этому.

Проснись в Афинах знаменитым

(диалог философический)

– Скажи, Аристарх, сильно выросла мудрость с тех пор, как Врата Нарыма в Афины переименованы? Учёные записки здесь разноречат.

– Да читал ли ты новые учебники? Гиперборея вернулась, Артания вон в овраге обретена. Это уже и в хрестоматии вошло, Зоил. Кто есть мудрец? Дважды входящий в ту же Ушайку. Сперва – в светлую, потом – в мутную.

– Внушают воронятам, что они стрижата. Галдѣж пошёл, а жаворонки не поют. Вороны заклёвывают в пух, – литпомоек много.

– Не веришь ты отчётам, а в них зрелость небывалая: «Нас здесь тридцать профессионалов»! Во всей Элладе, вместе с Римом и Вавилоном, столько не насчитали. Не скажут: «собрание литераторов», нет – «форум поэтов». Золотой век, однако?

– Верно, верно, все признаки жёлтой осени. Из пяти газет три – жёлтые. Среди всех городов азийских Афины-2 по части желтизны верх взяли. Приезжал недавно некто из италийцев. Ну, виллы-пагоды видывал, и вот с вопросом на засыпку: почему, мол, Афины, а не Помпеи? Вопросы не поняли.

– Какие Помпеи? Ни одного вулкана на горизонте.

– Вулкана нет, а погорельцев в городе мудрецов много. Объявят дом не имеющим исторического смысла – к вечеру руины.

– Не о том ли книжица «Город, где всё светится добром»?

– Есть и асы скоромного слова: «Ну, пришла, так ложись...», например. Прямое слово, без всякой там черёмухи. Есть ещё Псапфы и Архилохи.

– Есть же, однако, и автохтонные символы.

– О да. Нарым сладкозвучьем обкурился. Ведомо стало, как тонки были нравы в юртах пумпокольских. Философских дастанов-то сколько там написано! Какие книксены в шатре Тохтамышша, а шаманы в галунах – отдыхай, Лонг, со своей буколкой.

– Ты, Зоил, почему-то Нарым не любишь. Что, твоих предков сюда ссылали?

– Как раз твержу, что забыли про него. Афины мало кто видел, а Нарым – все. Видать видали, да не понимали. А живут там народы-старички, нам, эллинам, ровня. Только про них ведь ни гу-гу.

– Я диалектик, люблю перепады, вот такое люблю, – чтоб внезапность, а за ней озадаченность: «Раз! – и ты в счастье ступаешь ногой».

– Побойся Зевеса, Аристарх, сандалий не навывтираешься!

– Но всё ж, Зоил, многие едут сюда познания ради. И увозят просвещённость по Великому чайному пути.

– Но везут и литературщину коробами, пора таможную ставить. А?

– В год Свины скажу тебе, как Телец Тельцу, а не Скорпион Скорпиону. Есть люди – скромно пишут летопись, в болотометрию вникают и на литературной толкучке не пиарствуют.

– Золотой век и юное слово вместе идут, а ты брюзжишь. Уж что-что, а любовная попса не полиняет. Верь, сдюжит под напором коренное-нутряное слово чалдонское.

Иван Геннадьевич

АНИКИН

Родился 30 июня 1952 года в деревне Ново-Успенка Кожевниковского района Томской области. Окончил Томский лесотехнический техникум и Томский педагогический университет.

Работал водителем, егерем, начальником спасательной службы, капитаном катера «Костромич». Охотник, печатался в газете «На крючке».

Живёт в селе Кожевниково.

Геннадий Степанович

АНКУДИНОВ

Родился в 1955 году в Томске. Окончил Томский автомобильно-дорожный техникум. Публикации во многих коллективных сборниках, в журнале «Сибирские Афины». Автор книги пьес «Вознесение». Дипломант Международного конкурса драматургов 2015 года.

Работает на Томском нефтехимическом комбинате.

Борис Васильевич

БУРМИСТРОВ

Известный сибирский поэт, автор более десятка поэтических книг. Лауреат Большой литературной премии и других писательских наград. Публикации во многих российских журналах. Член Союза писателей России. Секретарь правления Союза писателей России. Директор Дома литераторов Кузбасса. Живёт в г. Кемерово.

Николай Иванович

ДОРОШЕНКО

Родился 16 сентября 1951 года в селе Сухиновка Курской области. После окончания Сухиновской средней школы работал литературным сотрудником в редакции газеты «За изобилие» в городе Рыльске. Затем работал токарем на заводе «Красный Октябрь» в Волгограде, электромонтажником в Киеве, рулевым матросом в Ялтинском морском торговом порту.

В 1977 году переехал в Москву. Работал сначала дворником, затем главным хранителем Дома пропаганды Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, ответственным секретарём комиссии по работе с молодыми литераторами Московской писательской организации и одновременно учился

на заочном отделении в Литературном институте им. А. М. Горького.

Автор многих книг прозы, лауреат литературных премий.

С 2000 года – главный редактор газеты Союза писателей России «Российский писатель» и директор одноимённого издательства. Секретарь правления Союза писателей России.

Валентина Михайловна

ЗАРУБИНА

Родилась в посёлке Мыльджино Каргасокского района Томской области в 1953 году. Окончила исторический факультет Томского университета. Работала учителем истории в школах Каргасокского района. Почётный работник общего образования. Финалист премии «За нравственный подвиг учителя – 2009».

Автор многих статей в методических сборниках.

Живёт в селе Каргасок Томской области.

Александр Петрович

КАЗАРКИН

Родился 27 ноября 1941 года в деревне Дресвянка Новосибирской области. Доктор филологических наук, профессор Томского государственного университета. Член Союза писателей России. Член редколлегии журнала «Начало века».

Автор книг «Пульс времени» (1985), «Литературно-критические оценки» (1987), «Где та земля Чистая? (о природе и литературе Сибири)» (1988), «Вокруг “Мастера и Маргариты”» (1988), «Русская литературная классика XX века» (1995), «Русская литература и философия Серебряного века» (2001), «Русская литературная критика XX века» (2004). Последняя книга отмечена губернаторской премией, является первым в России монографическим изложением истории русской критики XX века. Казаркин – автор и составитель учебника «Сибиреведение» и книги «Предания старого тракта». Лауреат Всероссийской литературной премии имени Н. А. Клюева.

Анатолий Владимирович

КИРИЛИН

Родился 24 сентября 1947 года в Барнауле. После окончания средней школы (1966) работал корреспондентом краевого радио, после

службы в армии – на телевидении. В начале 1990-х – корреспондент, ведущий и директор популярной независимой телекомпании «ТВ-Сибирь». Заочно окончил филологический факультет Барнаульского государственного педагогического университета.

Автор многих книг повестей и рассказов. Лауреат Всероссийской литературной премии имени В. М. Шукшина и многих других литературных премий. Председатель Алтайской краевой писательской организации, секретарь Союза писателей России.

**Сергей Геннадьевич
КРЫЛОВ**

Родился в 1950 году в Новосибирске в семье врачей.

Детство и отрочество прошли в Каргасокском районе Томской области.

Окончил юридический факультет Томского университета.

Работал на разных должностях в органах внутренних дел.

В настоящее время живёт с семьёй в Сайге Верхнекетского района.

Ранее не печатался.

**Юрий Максимович
МАЛЬШЕВ**

Родился в 1941 году в Костромской области. В 1972 году закончил исторический факультет Томского государственного университета. Полковник в отставке. Печатался в коллективных сборниках северских, томских и пермских авторов. Автор книг стихов и прозы. Публиковался в журнале «Начало века».

В 2015 году стал победителем конкурса на лучшее стихотворение о Великой Отечественной войне к 70-летию Победы, проведённого среди подразделений МЧС России. Награждён дипломом «Золотой витязь».

Живёт в Северске.

**Ирина Михайловна
НЕКЛЮДОВА**

Поэт и прозаик. Автор книг стихов «Рифы радости», «Живая свеча», «Всё чаще чудо

снится» и других. Родилась в с. Белоусово Томского района Томской области. Закончила исторический факультет Томского государственного университета. Работала учителем, воспитателем. Лауреат губернаторской литературной премии в номинации «Проза». Член Союза писателей России.

Живёт в Томске.

**Лев Фёдорович
ПИЧУРИН**

Родился 18 декабря 1927 в Ленинграде. В 1948 году окончил Томское ордена Красной Звезды артиллерийское училище, офицер наземной артиллерии; диплом с отличием. В 1956 г. окончил Томский педагогический институт, учитель математики и физики; диплом с отличием. В 1963 г. окончил аспирантуру ЛГПИ им. А. И. Герцена по методике преподавания математики, с 1963 г. – кандидат педагогических наук. С 1985 г. – профессор.

Внештатный сотрудник «Известий», «Учительской газеты», «Советской России», местных газет, радио и телевидения, автор ряда публикаций, в том числе более 70 книг и брошюр.

Постоянный автор журнала «Начало века».

Член Союза журналистов РФ. Почётный член Союзов театральных деятелей РФ и писателей РФ.

**Мария Викторовна
ПЛОТНИКОВА**

Старший научный сотрудник Гос. Русского музея (Санкт-Петербург).

Живёт в Санкт-Петербурге.

**Николай Васильевич
ХОНИЧЕВ**

Родился в Томске 19 мая 1964 года. Окончил биолого-почвенный факультет Томского университета. 23 года отработал в системе лесозащиты. Автор семи книг стихов, двух альбомов песен. Член Союза писателей России. Член-корреспондент Академии Поэзии. Награждён Золотой Есенинской медалью. Ответственный секретарь журнала «Начало века».

НАЧАЛО ВЕКА

Литературный и краеведческий журнал

Издание томских писателей

Главные редакторы

Г. Скарлыгин

В. Крюков

Технический редактор

О. Карташов

Корректор

И. Киселёва

Редакция журнала принимает к рассмотрению первые экземпляры рукописей, отпечатанные на машинке через два интервала либо набранные на компьютере через полтора интервала (12-14 кегль), желательно с приложением набранного текста в любом формате на любом цифровом носителе.

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку.

Адрес редакции: г. Томск, ул. Шишкова, 10.

© Составление и оформление: «Начало века», 2018 г.

Формат 70X108 ¹/₁₆. Усл. печ. л. 18,2. Тираж 100 экз.

Дата выхода журнала 30.10.2018. Цена свободная.

Отпечатано в ООО «Томская полиграфическая компания»,
г. Томск, ул. Пушкина, 40/1